
ЮЗЕФ
ЧАПСКИЙ

**НА СТРАНИЦАХ
«НОВОЙ ПОЛЬШИ»**

БПЛ БИБЛИОТЕКА
ПОЛЬСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



Юзеф Чапский

**На страницах
«Новой Польши»**

От редакции

Юзеф Чапский (1896–1993) был не только выдающимся польским художником и эссеистом, но и человеком, который не избегал обязанностей, возложенных на него трудной историей XX века.

Он окончил гимназию в Петербурге, там же поступил на юридический факультет. В 1916 г. вступил в Пажеский корпус Его Императорского Величества, а в 1917 г. был зачислен в 1-й полк креховецких уланов, который вскоре покинул из-за своих пацифистских убеждений. С 1918 года он учился в Академии изящных искусств в Варшаве, однако вскоре вернулся в Петроград, чтобы отыскать пропавших товарищей по полку. Чацкий принимал участие в польско-советской войне. После ее окончания изучал живопись в Кракове. В это время он тесно общался с русским эмигрантом Димитрием Философовым.

В 1924 году Чапский уехал в Париж вместе с группой молодых художников (группа Капитистов). После возвращения в Польшу (1931) он занимается живописью и пишет искусствоведческие статьи. В сентябре 1939 г. его мобилизовали, и вскоре он попал советский в плен. Его держали в лагерях в Старобельске, Павлицевом бору и Грязовце. Как одному из немногих ему удалось избежать Катынского расстрела. В 1941 г. Чапский вступил в польскую армию генерала Андерса, где занимался поиском пропавших польских офицеров. Был редактором газеты «Ожел бялы».

После войны был издателем в Риме и Париже, а в 1947 г. вместе с Ежи Гедройцем основал ежемесячник «Культура». Он поселился в резиденции «Культуры» в Мезон-Лаффите под Парижем. В 1974 г. вошел в состав редакции русского журнала «Континент».

«Новая Польша» с самого начала своего существования старается приблизить русскому читателю творчество и личность Юзефа Чапского. В этом файле находятся все опубликованные в нашем ежемесячнике тексты Чапского, начиная с его дебютантской статьи, напечатанной в эмиграционной газете «За свободу» в 1923 году. Вторая часть содержит изданные нами статьи и заметки, посвященные Юзефу Чапскому.

Редакция «Новой Польши»

I

Статьи

О «МОЛОДОЙ ПОЛЬШЕ»

перевод с рукописи¹

*Jakże ja się uspokoję...
Pełne strachu oczy moje,
Pełne grozy myśli moje.
Jakże ja się uspokoję...*

*Как могу я успокоиться...
Полны страха мои глаза,
Полны ужасом мои мысли
Как же могу я успокоиться?*

(Из посмертных рукописей Высянского).

Статья Д.Философова «На выставке» и выраженная в ней мысль о необходимости созидания повоенной польской культуры с целью духовного объединения Польши — заставили меня, особенно в связи с последними событиями, болезненно почувствовать всю тяжесть нашего положения.

Разбушевавшееся море нас заливает, нет еще ни правительства, ни финансов, ни администрации, которые дали бы уверенность в том, что мы идем к лучшему будущему — к сплочению.

Первое движение мысли: не преждевременно ли думать об искусстве, не чистое [ли] «барство» каждого из нас работать в области «чистого искусства», «чистой науки», время ли **«думать о розах, когда пылают леса»**².

Но с другой стороны, каждый поляк, глубже вникающий в этот вопрос, должен согласиться с Д.Философовым, что создание повоенной культуры является для Польши вопросом жизни и смерти.

1 Мы с удовольствием помещаем в русском переводе присланную нам интересную статью г-на Юзефа Чапского. Тема, затронутая ею, настолько значительна, что мы полагаем к ней еще вернуться. Нам очень ценно, что представитель молодого поколения Польши сам пожелал познакомить наших читателей с лучшими представителями польской культуры. РЕД. [редакция газеты «За Свободу!»].

2 Из «Лилии Венеды» Словацкого [здесь и далее — примеч. ред. газ. «За Свободу!»].

В эти моменты чувства бессилия — нам, молодым — перед лицом заданий жизни, надежду и веру дают воспоминания о целой плеяде людей, недавно отошедших от нас, которые развивали дух польский в польском искусстве и в польской мысли.

Русские, к сожалению, не знают этой культуры, очагом которой был Краков каких нибудь двадцать лет тому назад.

Это был единственный город, где в польском университете встречалась молодежь со всех трех частей разделенной Польши, где цензура не душила каждого проблеска польской мысли и здесь то, именно, был очаг так называемой Молодой Польши. Назову только несколько имен выдающихся представителей этого движения. В области литературы: Выспянский, Каспрович, Жеромский, Пшибышевский, а в области философии и критики: Бжозовский, Виткевич, в области искусства тот же Выспянский, Мальчевский, Мегофер, Вычулковский, Фалат, Станиславский и мн. др.

Д. Философов в своей статье противопоставляет Кжижановского Семирадскому, Бакаловичу, Котарбинскому. Необходимо сказать, что не только Д.Философов, но и каждый поляк, более или менее высокого уровня культуры и знания, не считает этих господ представителями польского духа и столпами нашей живописи. Мне кажется, однако, что как раз в этой области мы можем смело говорить о своем собственном, очень оригинальном искусстве и назвать одного художника крупного размера.

Наше художественное достояние последних 20-30 лет очень богато, очень своеобразно и таит в себе огромные возможности.

Не могу здесь упоминать о всех представителях «Молодой Польши». Хотел бы только обратить внимание на своеобразный гений Выспянского, которого смело можно считать самой выдающейся фигурой всего этого движения.

Гениальный драматург, поэт и живописец, он умер, не дожив сорока лет. Оставил нам, к сожалению, сравнительно небольшое художественное наследие. Прикованный к постели тяжелой болезнью, в последние годы жизни не владеющий рукой, он должен был отказаться от живописи. Он говаривал тогда, что только теперь чувствует себя способным по настоящему рисовать.

Драматическое творчество в этот период его жизни было единственным выражением его художественной натуры.

В Национальном Музее в Кракове находятся три пастели Выспянского: вид из его окна в разные времена года.

Скромный пейзаж — железнодорожное полотно, телеграфные столбы, несколько деревьев и вдали на равнине курган Костюшки: в ясный солнечный день, в серую осень и в снежную завируху — и однако от этих пейзажей бьет такой правдой, такая любовь к этому кусочку природы, что, раз увидев эти картины, трудно их забыть. В этом же Музее находятся и его детские головки — рисунки пастелью чудесной про стоты и глубины.

Во францисканском костеле (тоже в Кракове) есть витражи его композиции. Один из них положительно гениален: в пламени красок Бог Отец, как огненный факел, появляется из хаоса и движением владыки создает мир. В этом произведении Выспанского есть нечто от Микеланджело. Витраж находится против главного алтаря над входом. Рассказывают, что двое маленьких детей вошли в костел и пораженные опустились на колени перед витражем, повернувшись спиной к алтарю.

Отношение Выспанского к жизни было глубоко трагическим, а все его искусство — это борьба и искание освобождающего слова, которое будет бить, как молот и перед которым все падет ниц. Он хотел похитить этот священный огонь, который горит там, и дать его всем чающим пламени, которое будит, дает силу, мощь, могущество. Выспанский после годов затишья поднял знамя польского искусства на высоты, которых раньше достигали лишь наши великие поэты.

Таким же трагическим, как и его отношение к жизни, было и его сознание трагической судьбы современной Польши. Все его творчество — это вопль о новой польской действительности.

Выспанский до такой степени связан с современностью и до такой степени поляк, что, пожалуй, только поляк и сможет понять его как следует, и я не думаю, чтобы его произведения можно было более или менее сносно переводить на другие языки, до такой степени они своеобразно польские по форме. Бжозовский пишет о нем: «Выспанский без труда опровергает смешные мечты о гении независимом в своем творчестве от внешних условий. Напротив, он показывает, что гений — это максимум зависимости. Для человека выдающегося, по словам Вейнингера, все полно выдающегося значения. Гений ничего не воспринимает равнодушно и внешне, все, с чем он сталкивается, становится для него частицей его собственной жизни. Когда внешние вещи давят нас своей мертвой тяжестью, то мы несем кару за собственный грех — недостаток любви... В каждой вещи, с которой сталкивается гений, начинает биться жизнь, его сердце...» Я процитировал этот отрывок потому, что он необычайно метко характеризует Выспанского. Все его занимало. Один мой знакомый навестил его уже во время тяжелой болезни и был очень разочарован, когда он с величайшим воодушевлением стал ему рассказывать о краковских трамваях!

Премьеры драм Выспанского составляли целую эпоху для Кракова. Некоторые выдающиеся представители литературного мира признавали его за совершенно безумного, и теперь еще поклонники Бакаловичей и Семирадских считают его таковым. Но многие с первого же момента признали его гений.

Его «Свадьба», «Освобождение» — это трагический крик среди ночи, перчатка, брошенная тем, которые говорят о Польше, которые носятся со своим патриотизмом и которые с Польшей ничего общего не имеют, а являются только ее паразитами. Выспанский боролся со всем тем, что было призрачным, что не выдерживало давления

истории и что прикрывалось ни к чему не обязывающей фразой или укрывалось в бесплодной мечте. Он боролся с бесплотной духовностью, с идеей Польши, лишенной плоти и крови, а также с ограниченным пониманием национальности, в котором душа замыкается; как в клетке. Трагический 2-ой акт «Освобождения» представляет нам Конрада (героя, того самого, который выступает в 3-ей части «Дедов» [«Дзядов»] Мицкевича), окруженного масками, людьми — призраками, людьми не способными на свое собственное слово, на свое самостоятельное действие, на собственную мысль, готовых лишь говорить, говорить без конца.

Конрад мечется среди них, говорит великие и страшные слова — Маски за ним повторяют то одно, то другое, хотят выкрасть у него тайну его души и все то, что в его устах звучит величием и неожиданностью, превращается в устах маски в общее место, которое уже без конца повторялось, по фразе и ничего не значащее слово, и Конрад с отвращением, видя свою мысль искаженной, все-таки продолжает говорить далее, говорить трагические, глубокие вещи. В его словах звучит вся мука его кровью истекающего сердца. Он говорит об искусстве, творящем новую действительность, об искусстве — пути к бессмертию, о бессмертной Польше, которую искусством он хочет расколдовать, говорит о несчастьи народа и о том, как народ себя стубил, о национальном рабстве, которое у слабых людей выедаёт душу, — искусством хочет всю жизнь изменить и привести к освобождению. А вокруг него маски, которые говорят о Польше, о жертве Христа, о силе и не могут выдерживать даже взора Конрада, расплываются туманом, и Конрад говорит в пустоту.

Именно это и было трагедией таких людей, как Выспянский и Бжозовский, — минутами у них было страшное ощущение, что они говорят в пустоте. Они чувствовали, что дальше так быть не может, что «народ погибает»³, что материальное рабство влечет за собой рабство духовное, что поляки «тратят себя», что все новые и новые влияния убивают в них их собственную душу, что постоянные насилия и долгие годы рабства, во время которых по необходимости поляк, не имеющий возможности осуществлять и строить собственную действительность, жил мечтами и обманывал себя, не имея жизненного критерия, являлся какой-то надисторической фигурой. В этом сне — обмане поляку грозила смерть, вопль отчаяния Выспянского среди глухой ночи пробудил польскую душу к жизни и борьбе. Огромная заслуга польских мыслителей и художников этой эпохи — не знает о них Европа, быть может, ей и не надо этого знать, — что они пришли к нам. Пришли затем, чтобы на самих себя открыли мы глаза, чтобы до глубины прониклись трагизмом нашего положения, чтобы сорвать с нас маски пошлого и мелкого оптимизма и толкнуть на путь действительности. Бжозовский, умирая от чахотки в 1911 году, даже самые последние дни перед смертью был поглощен мыслью: жить, жить, чтобы работать для Польши, чтобы «бороться против внеисторических взглядов, против религиозной беззаботности», чтобы «дать людям немного почвы и воздуха». «Невозможно, — писал он, — дышать воздухом пресыщенным опереточным легкомыслием и кабацкой грубостью по отношению к самым основным силам человеческой души»⁴.

Бжозовский умер в возрасте 33 лет в нищете, тогда, когда только что приближался к полноте творческих сил.

3 «Освобождение», акт 2.

4 Отрывки из предсмертных писем проф. Клингеру.

Выспанский, также тяжело больной, работал с горячностью торопливостью, чувствуя над собою крылья смерти и весь горел от все новых творческих замыслов. «Дело не во мне, а в мысли моей» повторял он на разные лады.

И Выспанский горячо молился Духу, чтобы «пламенем выжечь печать на души» и кончает молитву свою:

*«Позволь через Тебя в Тебе Отца познать,
Позволь через Тебя познать Сына,
Позволь в Тебе свет миру дать
И с верой приступить к действию»⁵.*

Минутами он чувствует себя так, как если бы уже был свободным и благодаря этому освобождающим народ.

К о н р а д : Вы гоните меня? Вы бескрылые и вы с крыльями, вампиры ада, вы Эринии!

Вы уже не настигните во мне Ореста, который склонял колени у алтаря и которого Бог осенил лучами своими. Понимаешь! Воссиял у меня в голове Бог, Аполлон-Христос и Эринии проходят мимо. Ты знаешь, что значит, что я освобожден?

М а с к а : А мы?

К о н р а д : Что вы освобождены. Мука Ореста пронеслась над всей землей Микенской. Злодеяние Атридов тяготит над целым городом. Но освобожденный Орест освободил от проклятия и землю свою.⁶

Но затем снова наступает мрак, и Выспанский-Конрад не знает слова, которое освободило бы отчизну: он думал, что то живая Польша, которая расколдована его искусством, а это оказалось декорациями на картонах, которые раздвигаются, а герои Польши — эти актеры, которые после окончания представления сытые аплодисментами, спешат на ужин с шампанским.

И остается Конрад на темной пустой без декораций сцене — и страшные Эринии окружают его.

Так кончается «Освобождение».

Может показаться странным, что в Выспанском так резко проявляются трагические ноты — сомнение в собственных силах и в силах народа, но именно в этом мужественном сознании нашего бессилия и мрака нас окружающего и есть его величие.

И мысль о нем, о его крестном пути, о муке его жизни поддерживала и вливала

⁵ Гимн св. Духу.

⁶ «Освобождение», 2 акт.

утешение в сердце Бжозовского в минуты тягчайших сомнений⁷; поддерживает и подкрепляет не одного из нас и теперь, когда внешне так много изменилось, а внутри длится та же борьба, что прежде.

*Голос его не остался без отклика:
Столько сил в народе
Есть так много людей,
Пусть же в них дух твой вступит
И спящего пусть он пробудит.⁸*

И Бог слышал молитву Выспанского: Бог разбудил не одного. Тысячи юношей с наслаждением бросали «своей жизни судьбу»⁹ и боролись за свободную Польшу.

Эта борьба еще не кончена.

Борьба за польский дух длится. И мы верим, что нас не оставит светлый дух Выспанского и что Бог услышит его горячую молитву и даст нам — «Польшу откровения».

*«За Свободу!» 1923, №3
Перевод Натальи Горбаневской*

7 Об этом Бжозовский пишет в «Легенде Молодой Польши».

8 «Освобождение»

9 Песня легионовая.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЖИВЫМ И МЕРТВЫМ» ГУСТАВА ГЕРЛИНГА-ГРУДЗИНСКОГО

Автор ни на минуту не забывает об ответственности за смысл и качество каждого слова, и его заботит не только литература, но и человеческое ее содержание. В столь мрачный для поляков период эта книга радует и поддерживает, свидетельствует о неразрывной связи живых и павших в борьбе за самое главное, о неуничтожимой силе сути польской традиции.

Норвид пишет в новелле «Горсть песка»: «Знай, что традицией разнится величие человеческое от зверей полевых, а тот, кто от совести истории оторвется — дичает на отдаленном острове... так-то вот бывает, что заново апостолов посылать им надо, чтобы вернулись в былое течение».

Мы не одичаем на отдаленном острове, потому что среди сегодняшней молодежи — такие люди, как автор этой книги, стремящиеся развить те черты человеческого характера, которые проявляются в отношении к жизни, к литературе, к культуре.

Когда Грудзинский в ночь с 16 на 17 мая был послан радистом к выдвинутому артиллерийскому наблюдателю на высоту 593, командир его, майор Строевский, останки которого меньше чем через сутки тот же Грудзинский с товарищами будет выносить с этой «жертвенной горы», сказал: «Не знаю, парень, вернешься ли, но знай, сколько от тебя зависит». Слова светлой памяти майора Строевского автор этой книги запомнил как завет на всю оставшуюся жизнь и на каждое дело, которым он занимается.

«Помни, сколько от тебя зависит». Грудзинский помнит, что, участвуя в борьбе нынешнего поколения за то, чтобы не одичать на отдаленном острове, он должен, как на склонах Монте-Кассино, на каждой своей странице держать неразрывную связь с живыми и мертвыми, защищая «незримый град, который характеры людские стерегут».

1945

Перевод Сергея Политико

БЕСЧЕЛОВЕЧЬЕ

(фрагменты)

Сразу по приезде¹⁰ я получил приказ создать «Бюро опеки» при сборном пункте, через который должны были пройти все прибывающие офицеры и солдаты. Целью бюро было информировать их и собирать от них информацию, жалобы, вопросы.

Эти люди не знали еще ничего, кроме того, что их выпустили из лагерей и отправили в армию. (...)

Помню такое собрание вновь прибывших в занесенной снегом степи; они тогда впервые услышали, что Польша сражается с оккупантами, что в 1940 г. мы участвовали в боях во Франции и в Нарвике, что наш военно-морской флот действует, что в битве над Англией, в смертельной схватке за Лондон, польские летчики сбили 219 немецких самолетов, седьмую часть уничтоженных над Лондоном вражеских машин. Эти известия были потрясением для польских солдат, участников сентябрьской катастрофы, над которыми два года измывалась в лагерях советская пропаганда, внушавшая, что Польша и польская армия навсегда перестали существовать.

Каждое выступление я заканчивал словами о союзе с Советами. Выполняя приказ командования, требовал лояльности и товарищеского отношения к Красной армии. (...)

Три вопроса преобладали над всем остальным.

Этих людей, изможденных, промерзших, с мокрыми ногами, обернутыми в тряпки, в пропитанных водой рваных куртках, беспокоило прежде всего — как спасти, собрать в войсках товарищей, еще оставшихся, удерживаемых в лагерях.

Вторым делом была просьба найти родственников на просторах России, куда их вывезли, послать им весточку о себе. (...)

10 Юзеф Чапский был интернирован в Старобельске и в числе немногих офицеров из этого и двух других лагерей вместо отправки на расстрел был переведен в лагерь в Павлицевом Бору, затем в Грязовце, откуда освобожден по амнистии, объявленной польским заключенным после советско-польского соглашения августа 1941 г. (т.н. пакта Сикорского-Майского). Из лагеря прибыл («приезд», о котором говорится в тексте) в распоряжение командования формировавшейся польской армии генерала Андерса.

Третьим — расспросить всех, кто к нам приходил: не слышал ли он что-нибудь, не знает ли чего-нибудь о военнопленных из Старобельска-1, Козельска-1 и Осташкова? Тогда мы еще верили, что они вот-вот приедут. Однако наши боевые товарищи не только не появлялись, но и никто из сотен тех, кто прибывал со всей России в наше бюро военнопленных и узников, не мог ничего о них сказать. Понять это мы были просто не в силах.

С момента эвакуации тех трех лагерей в апреле-мае 1940 г не осталось и следа от 15 тыс. военнопленных (среди которых было 8 тыс. офицеров).

Нам тогда еще в голову не приходило, что 15 тыс. военнопленных убиты, мы упорно, каждый день спрашивали о них каждого. Слухов о том, что большевистские власти провели массовую хладнокровную ликвидацию, мы поначалу даже не хотели принимать во внимание. (...)

Среди бесчисленных фамилий эков, которые мы записывали под диктовку прибывших, никогда не встречались фамилии никого из наших товарищей из Старобельска, Козельска, Осташкова, а ведь нам казалось, что уже почти нет в России лагеря, откуда не было вестей. Было только одно исключение: мы располагали несколькими сообщениями, пожалуй, их было более десятка, о профессоре Х¹¹, который находился в одном из лагерей Коми и, судя по рассказам его освобожденных товарищей, был тяжело болен. Выпускать его не хотели. Мы знали, что он был в Козельске-1, в одном из трех лагерей, которые не подавали признаков жизни (за исключением 400 военнопленных, сосредоточенных после мая 1940 г. в Грязовце). Значит, где-то есть военнопленные козельчане, казалось нам тогда.

Профессора Х освободили из Коми только в июле 42-го, через год после «амнистии», после многократных личных обращений посла Кота. Тотчас по прибытии он дал следующие показания: *в апреле 1940 года* он вместе с группой из 300 офицеров был вывезен из Козельска-1 на станцию к востоку от Смоленска, там его увели от остальных и поместили отдельно, однако в окошко он мог наблюдать, что происходит с остальными. Так вот, к вагонам подъезжали автобусы с затемненными стеклами, офицеров грузили в них и увозили в лесистые окрестности Смоленска. Профессора Х отправили в Москву на следствие по поводу его научных работ о советской экономике, а оттуда — в Коми. (...)

Комната с большими портьерами, с ковром. Райхман, худощавый, невысокий, с породистым лицом и ухоженными руками, поздоровавшись, сажает меня напротив окна. На протяжении всего разговора присутствует, в полном молчании, третье лицо, тоже в мундире НКВД.

Райхман производит впечатление человека холодного, хорошо владеющего собой. Он принимает меня корректно и равнодушно. За все время визита я не заметил

¹¹ Станислав Свяневич, профессор Виленского университета им. Стефана Батория, специалист по Восточной Европе. В 1979 г. он выпустил книгу воспоминаний «В тени Катыни».

ни единого жеста, не услышал ни единого слова, которые не были бы тщательно взвешены. На сухом лице сравнительно молодого, лысеющего блондина ни тени какой-либо реакции.

Подаю ему докладную записку, в записке приведены точные цифры об офицерах и рядовых, взятых в плен с оружием в руках и размещенных в лагерях в Старобельске и Осташкове. Подчеркиваю, что в Козельске в момент разгрузки, в апреле 1940 г., было около 5 тыс. военнопленных, в том числе около 4500 офицеров всех званий (это приблизительно соответствовало числу катынских жертв, согласно расчету, сделанному на основе документов позднее, в 1945 г.). Далее констатирую, что в Осташкове в момент начала разгрузки было 6670 человек, из них 380 офицеров, а в Старобельске — 3920, из них лишь несколько десятков курсантов и гражданских, а остальные — офицеры. Я добавил, что из общего числа этих 15 тыс. человек из всех трех лагерей нашлось около 400, тех, кого собрали в мае 1940 г. в Павлищевом Бору, а потом в Грязовце под Вологдой. (...)

Сколько просеянных, отброшенных версий, сколько расспросов, опросов, допросов несчастных людей в рваных куртках — в Куйбышеве, в нашей холодной деревянной хибаре в Тоцке, в Чкалове, и все ради того, чтобы написать эти несколько предложений, думаю я, украдкой глядя на текст, по которому Райхман бесстрастно водит карандашом.

«Мы знаем, с какой скрупулезностью был зарегистрирован каждый военнопленный, — читаю дальше, следя за карандашом Райхмана. — Как „дело” на каждого из нас, с многочисленными протоколами допросов, хранилось в папках с удостоверенными фотографиями и заверенными документами, мы знаем, с каким педантизмом и точностью вело эту работу НКВД. Так разве торжественное обещание самого Сталина, его категорический приказ выяснить, какова судьба бывших польских военнопленных, не позволяет нам надеяться, что мы по крайней мере узнаем, где находятся наши боевые товарищи, а если они погибли, то как и где это произошло?»

1949

Перевод Натальи Горбаневской

СТАРОБЕЛЬСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

(фрагмент)

В октябре 1940 г., за восемь месяцев до начала советско-германской войны, большевики привезли в специальный лагерь под Москвой, а потом и в Москву нескольких наших штабных офицеров, в частности полковника Берлинга, и предложили им сформировать польскую армию против немцев. Берлинг уже тогда принял предложение, но поставил твердое условие: в эту армию смогут вступить все солдаты и офицеры, независимо от политических взглядов. Была встреча с Берией и Меркуловым.

— Ну естественно, — ответили они. — Поляки любых политических взглядов получат право вступить в эту армию.

— Замечательно, — произнес Берлинг, — у нас есть отличные кадры для армии в лагерях Старобельска и Козельска.

И тут у Меркулова вырвалась фраза:

— Нет, эти — нет. *Мы сделали с ними большую ошибку.* [Выделенная курсивом фраза в оригинале приведена по-русски].

1944

Перевод Натальи Горбаневской

ОБ ИЗБРАННЫХ СОЧИНЕНИЯХ РОЗАНОВА

«Как можно писать о религии в Польше, где есть только архиепископ Теодорович и Дашинский!»

Эта варшавская шутка двадцатых годов эмигранта Дмитрия Философова, одного из основателей российского Религиозно-философского общества в начале этого века, друга, первооткрывателя и оппонента Розанова, сегодняшней Польше подходит, пожалуй, еще лучше.

Тогда ведь все же был профессор Фаддей Зелинский, исследователь античных религий, пытавшийся вывести христианство скорее из Греции, чем из Библии, был Мариан Здзеховский, ездивший к Пию Х, защищать одного из лидеров модернизма, своего друга, полузапрещенного ксёндза Лабертонньера, навещавший Толстого в Ясной Поляне, и читавший в Сорбонне — он, профессор Ягеллонского и Виленского университетов, — лекции о религиозных течениях России, о Соловьеве и Хомякове.

Есть ли сегодня у нас в Польше исследователи религии такого уровня, пишущие с той же абсолютной свободой, но созвучные при этом, если не всему обществу, то хотя бы верной горстке читателей? Наверное, сегодня для рядового читателя «Тыгодника повсехного» еще вернее, чем когда-то для читателя «Тыгодника иллюстрированного», а тем более «Пшеглёнда вспулчесного» религия — это исключительно католицизм, а католицизм — это в первую очередь защита польскости; тогда как опять же для рядового читателя «Трибуны люду» или даже еженедельника «По просту» любая религия — это мракобесие и опиум¹². Ее следует до поры до времени терпеть из тактических соображений или даже во имя доброй воли коммунистической демократии («народ у нас католический»), но уж точно не ради религии как таковой, которая, безусловно, лишь сказочка для не всегда послушных, но, несомненно, глупых детей.

Поэтому о религиозной проблематике в самом широком смысле этого слова лучше не писать. К чему распространять ее влияние. Но не грозит ли Польше неписанный уклад, который напоминал бы сохранявшееся в течение долгих лет согласие между атеистическими последователями Шарля Морраса и католиками определенного типа, защитниками трона и порядка, порядок, о котором с глубокой неприязнью писал Станислав Бжозовский, ибо видел в нем отрицание религии.

12 Ортодоксальный и резко окрашенный национализмом католицизм или «религия — это прежнее суеверие или истерия», — таков общий взгляд левых позитивистов на религию.

Есть еще одна причина, помимо поражающего равнодушия в Польше к бескорыстному обсуждению религиозных проблем¹³, по которой трудно писать о русском писателе Розанове — это нежелание узнавать, изучать Россию не только в ее актуальном и политическом аспекте, но и в целом. В этом смысле ситуация, пожалуй, только ухудшилась, несмотря на такие журналы, как «Пшиязнь» или «Опинье». Я не сомневаюсь, что свободное изучение России встречает ныне бесконечное число трудностей, которых не было не только в годы независимости, но и в царское время. Но не становится ли главной помехой именно органическая антирусскость и глубокая неприязнь к России вообще?

Циприан Камиль Норвид имел смелость в 1863 году, то есть как раз в год Январского восстания, клеймить такое положение:

«Только свободные люди, только те, что не заклеимены с колыбели, как рабы, железом, знают о том, что, гранича с Россией, нужно иметь в ней свою партию — иначе всегда сходятся две глыбы, ничего общего не имея, и если две эти глыбы столкнутся друг с другом, то останется небытие и окончательное изничтожение сил. У Москвы могла быть своя партия в республиканской Польше... но поляки в России никогда на это не замахнулись — им не хватало политического чутья, чтобы создать свою партию с Россией, с которой им вечно граничить приходится. Потому что поляки рассчитывают, скорее, на (как это говорится) кровавую жертву каждые пятнадцать лет, на периодическую резню невинных, пока Бог не выглянет из облаков...»

Герцен, который в 1863 году встал на сторону поляков, заплатив за это потерей многих читателей и последователей в России, писал в 1868 году:

«...нет народа, соседствующего с Россией, который знал бы Россию меньше, чем Польша. На западе Россию просто не знают, но поляки не знают ее преднамеренно» (подчеркнуто Герценом).

Профессор Мариан Здзеховский рассказывал мне много лет назад, что когда он, будучи молодым человеком, написал первую книгу о русской литературе, о Пушкине и других писателях, то получил длинное и резко осудительное письмо от моего двоюродного дедушки, Эдварда Чапского, бывшего сибирского ссыльного. Известный в семье как человек с богатой фантазией и нестандартным мышлением, этот старый человек не мог понять, как порядочный поляк может срамить себя подобной книгой. Настроения в сегодняшней Польше напоминают атмосферу, господствовавшую после восстания. Это более чем понятно, да только что из того, когда это крайне вредно не только политически, но вредно и ложно в самом широком, гуманитарном, смысле. Даже воспоминание о Катыни, даже воспоминание о Варшаве не должны заслонять нам этого.

13 Меня всегда поражало то, что эволюция Станислава Бжозовского — материалиста и социалиста в молодости, который благодаря А. Бергсону, М. Блонделю и прежде всего благодаря кардиналу Д.Г. Ньюмену в последние годы жизни вернулся к религиозным вопросам и умер как католик — была так мало изучена и даже порой стыдливо замалчивалась многими его исследователями.

Сегодня в Польше непомерно выросло количество переводов с русского. Наряду с переводами литературы соцреализма, которая, за очень немногими исключениями, канет в Лету, у нас есть переводы классиков. Не знаю, в какой мере неприязнь к России влияет на восприятие великой русской литературы, стал ли при возросшем в целом в Польше интересе к чтению круг ее читателей шире, чем в довоенные годы, когда появились поистине конгениальные тувимовские переводы Пушкина и Гоголя, когда выходили в свет вдумчивые исследования русской литературы ученых такого класса, как профессор Вацлав Ледницкий, а переводы Достоевского приобретали не только восторженных читателей, но и оказывали влияние на молодых польских писателей (например, Адольфа Рудницкого).

*

Издательство им. Чехова в Соединенных Штатах, которое, к сожалению после четырех лет деятельности прекратило свое существование, выпустило несколько десятков томов русских писателей: от поэзии Тютчева и «Соборян» Лескова (в эмиграции их не найти, не знаю, как в России, где оба имели репутацию реакционеров), от представителей религиозно-философского течения XIX века Соловьева, Хомякова до писателей советской России: расстрелянного в первые годы революции Гумилева, несломленного Мандельштама, то опальной, то разрешенной Ахматовой, и даже разгромленного Ждановым Зощенко. Кроме того, вышла целая серия писателей-эмигрантов: от Мережковского, Бунина и Ремизова (самого большого русского писателя на сегодняшний день) до Набокова, теперь уже известного английского писателя, и Владимира Вейдле, автора «Умирания искусства» (издательство Галлимара)¹⁴; есть и совсем новая вещь: потрясающая, прекрасная книга Николая Нарокова, которому удалось выбраться из советской России, и который как мало кто сумел передать в своем романе атмосферу сталинской эпохи.

Издательство им. Чехова заслуживает на отдельные исследования настоящего знатока русской литературы. И если я сейчас пишу о нем, то единственно для того, чтобы обратить внимание на одно бесценное издание, выпущенное этим издательством — избранные сочинения В.В. Розанова с предисловием Юрия Иваска. В него, в частности, вошли фрагменты из «Религии и культуры» (1899), «В мире неясного и нерешенного» (1904), «Темного лика» (1911), «Уединенного» (1912), «Апокалипсиса нашего времени» (1917–1918) и даже, вместе с некоторыми другими фрагментами, письма к Э.Ф. Голлербаху, изданные в 1922 году в Берлине, уже после смерти писателя.

Этот том избранных сочинений составлен обстоятельно и толково, но как любое издание такого типа, даже самое лучшее, не может не вызывать сожаления, что это всего лишь избранное. Человек, прочитав книгу, закрывает ее с мучительным пониманием того, что сочинения Розанова должны быть спасены от гибели, но как? В избранное попало несколько текстов, в которых сам Розанов размышляет над предполагаемым полным собранием своих сочинений: «Полное собрание сочинений

¹⁴ Единственной известной мне книги, которую можно сравнить и до известной степени противопоставить «Голосам молчания» А. Мальро. Книга со столь же притязательным замыслом и равновеликой широтой горизонтов.

Розанова, — жалуется он, — это тридцать пять томов, и кто же захочет это читать; это не только тысячи статей в газетах, но еще и заметки к чужим статьям». При этом Розанов признается, что нередко именно в этих комментариях, попутных заметках, сносах мысль его наиболее близко касалась существа вопроса.

Юрий Иваск приводит ряд высказываний писателей о Розанове. Мережковский, Блок, Белый, Зинаида Гиппиус, не колеблясь, называют его гениальным. Шестов, Бердяев, Мандельштам и Философов пишут о его несравненном языковом даре; Чуковский сравнивает его с Уитменом, Ренато Поджоли (Гарвард) — с Джойсом, Адамович пишет о Розанове как о «гениальном болтуне» и признает, что многие годы для него не существовало другого писателя, другого ума, другого круга мысли, даже другого, не розановского, стиля. Но может, лишь ирландский поэт Стефенс во вступлении к английскому переводу «Опавших листьев» говорит о нем то, что было бы Розанову особенно приятно: «Розанов близок каждому русскому и вообще каждому человеку. Он рассеян, измучен, смешон и невероятен, как всякое человеческое существо».

Однако, вопреки приведенным восторженным похвалам, если слово «трагический» и обладает полным звучанием и значением, то именно в случае Розанова и его двойной смерти — смерти физической и как бы еще одной, более значительной, смерти Розанова-писателя. Его друг Философов уже в тридцатые годы говорил мне, что, может, будет лучше, чтобы его сейчас никто не издавал, ибо нет такого места, где бы его статьи и эссе появились без тех или иных купюр, что, может, лучше будет повременить. Но вообще не похоже, что с того времени, по сравнению с той эпохой «атмосфера стала полечче». Более того, годы проходят, свидетели, читатели, последователи умирают. Притом этот писатель был наиболее оригинальным тогда, когда касался вопросов, на первый взгляд, ничтожных, людей, о которых давно уже все позабыли, событий, которые исчезли в грозах и пожарах русской революции.

Он умер, разрываясь между христианством и античными религиями, терзаемый до последнего вздоха противоречиями, — умер в монастыре, где его, голодающего, больного, приютила дочь-монахиня, которая после его смерти покончила с собой. И умер он тогда, когда вся его Россия распалась. Могло бы показаться, что он навсегда перестал существовать как писатель, исчезая в «апокалипсисе нашего времени». Его последнее сочинение так и называлось, это было сочетание гениальных противопоставлений и обобщений, пророческих предчувствий, незначительных и глубоких наблюдений, теплого, чуткого взгляда на человека. Звучит в этой книге поднимаемая вновь и вновь тема всей его жизни (космогония против христианства, телесный и плодородный корень жизни и христианское самопожертвование), со всеми ее противоречиями и отступлениями, пропетая с нажимом, с последней предсмертной силой. Но в «Апокалипсисе...» и «Письмах к Голлербаху» сознание собственной смерти и всего того, что он любит, связано с тайной и новой для него самой верой в воскресение.

«Не верь, не верь смерти».

За пределами России во французском переводе вышел, давно уже распроданный, «Апокалипсис нашего времени» (издательство «Feux Croisés»), в этом же томе было опубликовано «Уединенное». В Париже, еще до войны, им интересовались, к примеру, Андре

Жид, Даниэль Галеви и Дриё ла Рошель. В английском переводе выходят «Опавшие листья», а также два тома продолжения «Уединенного» — и это всё. В России нельзя и мечтать об издании полного собрания его сочинений. Еще в 1941 году, когда я был в Москве, Розанов был строжайше запрещен, и даже специалисты в библиотеках не имели к нему доступа. На этом фоне избранные сочинения Розанова, предваренные предисловием человека, который его, несомненно, знает и чувствует, — это для русской литературы событие первой величины, попытка воскресить Розанова после второй его смерти.

Сам я открыл для себя Розанова благодаря Мережковскому еще в 1918 году в Петрограде, а интоксикацию им я переживал уже будучи в Кракове. Несколько лет спустя мне писал один его друг: «Как же трогательно, что этот огарок, зажженный странным сумасбродом, не потух и вдруг затеплился у вас, где-то на Крупничей в Кракове».

Лет тридцать тому назад я попытался писать о Розанове, писателе и человеке, и только в 1932 году закончил большое эссе, состоящее почти из двадцати глав, но всё же я не отдал его в печать, надеясь переработать и расширить, оно казалось мне недостойным сочинений самого Розанова. Кто же знал его тогда в Польше? Величайшее почтение питал к нему Тувим, собирался его переводить. Впрочем, я не вижу человека, который бы сегодня отважился перевести Розанова так, как это сделал бы Тувим, то есть с тувимовским чутьем русского языка и столь близкого Розанову творческим, чувственным отношением к слову. Еще Розановым зачитывался Вацлав Рогович, он готовил книгу, которая должна была называться — насколько я помню — «Революционер в шапке Мономаха». Случайно ли, что и она не была издана? Это может свидетельствовать только о том, что и Рогович посчитал свой текст недостойным того, чтобы представить в Польше этого удивительного, столь разностороннего и многогранного писателя. Свой старый текст я получил в Париже, он был спасен из какого-то подвала сгоревшего дома в Варшаве, в нем недоставало нескольких глав. Я переработал его, но снова он нигде не был издан. Во французском переводе его принял Галлимар, но когда он выйдет, я не имею понятия¹⁵. Теперь, когда появилось исследование Ю. Иваска, это уже не столь важно.

Я все пытаюсь понять, почему в советской России так старательно уничтожают наследие Розанова? Коммунизм занимает его очень мало, его взгляды на общественные проблемы вообще полны противоречий, порой на эти темы он как раз и витийствует; где уж его антикоммунизму тягаться с «Бесами» Достоевского? Острые его критики несравненно чаще направлены против христианства, а коммунизм он рассматривает еще и как следствие христианства.

Мне кажется, что Розанов пугает ортодоксального коммуниста прежде всего своей чувствительностью к вопросам религии. Писать о ней новыми словами, вдумчиво, с жаром — это потребовало бы вновь открыть полемику уже, казалось бы, теоретически преодоленную (это предрассудок, истерия, опиум, реакция), так что лучше уж уничтожить, истребить все труды Розанова.

Когда я сам, постоянно возвращаясь к Розанову, думаю о том, как заинтересовать

¹⁵ Он был опубликован в 1964 году как вступление к избранным сочинениям в переводе Н. Резниковой, «La face sombre du Christ» в издательстве Галлимара.

им других, я стараюсь читать его глазами «непривыкших» к нему людей, и пока меня не захватывают дыхание его предложения, метафоры и то, что он называет инкрустацией состояний и противоречивых друг другу переживаний, мне почти что стыдно за него, так резко, по-иному он отзывается и пишет обо всём. Мыслит? Он сам утверждает, что никогда не мыслил по-настоящему, а только смеялся и плакал, что убеждения менял как перчатки, ибо всегда важнее был для него человек, исповедующий идеи, а не сами идеи. На любое утверждение Розанова можно найти тут же, рядом, в той же самой книге, утверждения и мысли диаметрально противоположные. Этот антихристианин любил Христа, этот человек, которому мы обязаны глубокими и восторженными исследованиями на тему евреев и религии Ветхого Завета, написал несколько отвратительно антисемитских страниц. И что же удивительного, если о России мы находим у него высказывания, граничащие с резким пасквилем, а рядом слова любви и беззаветной веры в нее. Что же это значит? Зачем его издавать? Сколько раз, когда я рассказывал о нем полякам, я видел на лице моего собеседника снисходительную улыбку: «Как же это типично по-русски!» — но ведь с каждым разом — независимо от того, в каком направлении его несет маятник чувств, — он показывает какой-то мельчайший нюанс, малейший поворот мысли, который точно подмечен и полностью раскрыт, находит новую неувиденную, неслышанную, неосязаемую интонацию. Мы приходим к этому новому видению не за счет рассуждения, а за счет конфронтации как бы разных музыкальных мотивов. В «Темном лике» он представляет мир молитвы и монашеского отречения, благословение слез и религиозного умиротворения, всего лишь описывая лица молящихся и лики святых на иконах, и тут же, рядом, он дает нам материальное, осязаемое чувство земли, телесной и радостной связи с ней, ощущение языческого мира, который выше всего ставит саму жизнь, и корень этой жизни — чувства, — но ни какой-то там теорией, а просто повторяя слова крестьянина, покрикивающего на свою косматую лошаденку, на которой везет он Розанова из далекого монастыря. В другом месте Розанов пишет, что охотно «откусил бы головы» всем Наполеонам, ибо это люди плохие, ненужные, и кому же могут быть они интересны, кроме плохих людей на этой ярмарке жизни. Ему милей его горничная, много работающая и лишь изредка улыбающаяся, он ставит ее несравненно выше, ибо на таких кротких, работающих созданиях и стоит мир; он утверждает, что частная жизнь важнее всяких общественных дел и всяких религий, что важнее сидеть дома, смотреть на заходящее солнце и даже ковырять в носу, чем какая бы то ни было религия, ибо солнце не исчезнет, а религии будут сменять одна другую; он показывает боль от смерти любимого человека, «инкрустируя» здесь же, рядом, боль человека, который проигрался в карты, он раздражает всякий раз сознательно, раздражает резкостью сопоставлений и за счет этого подходит к существу вопроса. Он вскрывает антиномичность понятий, которые мы из-за недостатка внимания, абстрактности словаря не задумываясь используем, лишая их музыки и внутренней, интимной температуры.

Когда Розанов одержим идеей, что христианство убивает жизнь, он описывает ветви деревьев, которые бьют его по лицу и зывают: «Спаси нас от Христа». Когда сломленного смертельной болезнью любимой жены его волнуют вопросы ее и своего бессмертия и вечности неистребимого чувства к ней, он описывает, как тихий шум вентилятора в клинике ерошит ему волосы, и как он чуть не приседает на пол, понимая, что этого вентилятора она никогда не услышит. И в Христе, в его религии, он видит спасение и единственную надежду.

Розанов не верит в идеи, которые высказывают мудрые ученые, моралисты, философы, как нечто независимое от них. «Лишь там, где субъект и объект — одно, исчезает неправда». И оттуда это несравненное и стольких людей раздражающее единство переживания, способность к конкретизации сложных, высоких идей, которых касались только языком объективным, очищенным от переживаний и чувственных порывов.

Философический, религиозный разрыв Розанова был не вымыслом анархизирующего эстета, а фактом, который его с годами всё сильнее давил, уничтожал и в конце концов уничтожил. Он сам сетовал, что немного было людей, которые так же глубоко ощущали противоречивые состояния, и что ему было дано только слово, только дар выражения, но не дар выбора.

Может, сегодня, когда в области литературы цензура в Польше более свободна, может, в Польше удалось бы сохранить, спасти мысль Розанова. И может, даже использовать те книги Розанова, те его тексты, которые и в России теперь были бы уже более доступны, чем в сталинскую эпоху.

Розанов где-то пишет, что писатель ищет слова для своей мысли и вдруг, как бы случайно, ему приходит в голову, что эти слова могут быть совершенно непонятны читателю, он старается заменить одно, другое на более понятные, «и тогда твой единственный читатель откладывает твою книгу и больше уже к ней не возвращается».

Может, главная актуальность Розанова в странах, где господствовал или господствует соцреализм как раз в том и состоит, чтобы писать для единственного читателя, писать так, чтобы невозможно было найти ни одного предложения без музыки, ни одной абстракции, не воплощенной в образ, в конкретный, чувственный и зачастую самый обыденный, заново увиденный факт. Этого писателя, который никому не может угодить, а тех, кто глух к своеобразным и неповторимым формам, непременно шокирует, писателя, которого целиком не в состоянии принять ни христианин, ни позитивист, ни коммунист, — необходимо спасти от гибели. Дай-то Бог, чтобы предисловие Ю. Иваска и превосходно подготовленные им избранные сочинения были первым шагом в этом направлении.

*«Культура» 1957, № 2
Перевод Дениса Пелихова*

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ?

*«Здесь лгать — значит заботиться об обществе,
а говорить правду — это разваливать Государство».
«Молчание страшнее самого несчастья».*

Кюстин, «Письма из России», 1839 г.

Может быть, сильнее всего при встрече с приезжими из Польши меня поражает то, что я нахожу у них не только все те же проблемы, но и все ту же неуспокоенную, неразрешимую, наоборот, яростью только усиленную одержимость теми же самыми вещами. Война, немецкая оккупация, пятнадцать лет Народной Польши, Октябрь кажутся в этом контексте событиями сравнительно поверхностными.

Годы, проведенные в настолько разных условиях, что должны бы были проложить между нами пропасть, если и правда быт, и только быт, определяет сознание, скорее продемонстрировали нам постоянство. Постоянство не только самого существенного — как для людей в Польше, так и для тех, у кого, как писал Мицкевич, «подошвенная география и политика», потому что они «вытоптали немало стран» — но и постоянство рефлексов, травм, всего того, что нас закрепощает, создает ту самую *morale clause*, отрезающую ото всего отличного, другого.

*

В «Бесчеловечной земле» я писал о моем разговоре в 1919 году со Стасовой, членом триумвирата Северной коммуны, в ее комнате-камере в Смольном в Петрограде.

По пути к ней в залах, через которые я проходил, меня окружали стопки пропагандистских брошюр на тему колхозов.

«Верите ли вы в советскую пропаганду колхозов в деревне?» — спросил я. Стасова посмотрела на меня так, как человек веры смотрит на бедного Фому неверующего. «Бытие определяет сознание, мы изменили бытие, идея насаждается»¹⁶. Вернитесь через двадцать лет, и сами увидите», — ответила она спокойно.

Эта фраза настолько засела у меня в памяти тогда, что, когда ровно двадцать лет спустя нас везли в глубь России в товарных вагонах, я внимательно смотрел вокруг,

16 Выделенная курсивом фраза в оригинале приведена по-русски.

почти веря, что увижу на лицах людей хотя бы легкий отсвет новой социалистической земли и нового неба. Не нужно было много времени, чтобы прочесть правду на погасших лицах толпы на станциях. Потом я увидел и познакомился с крестьянами в колхозах. Страсть, мечта обладания казалась мне в этих людях все такой же упорной, закоренелой, как будто даже усиленной яростью. Пророчество, «научный факт» Стасовой, «совести революции», как ее тогда называли, оказался иллюзией. Извечная, прочная страсть обладания.

*

Когда в Старобельском лагере я слушал стихи Мицкевича и даже Ор-Ота¹⁷ о Сибири и ссылках, меня поражала новая для меня, но совершенно та же, что и в момент их создания, актуальность, магия, в этих обстоятельствах усиленная во сто крат. Тогда же я почувствовал, что боль и травма, которые, как казалось еще пару лет назад, остались в прошлом, не проходят, а остаются.

*

Так и сегодня — в разговоре со многими приезжающими из Польши поражает накал, яростная сила обиды на Россию.

Милош в своей работе о Конраде показывает, насколько отношение писателя к России было похоже на отношение среднестатистического дворянина западных окраин империи тех лет. Как для английского писателя, давно оторванного от Польши, так и для среды, из которой Конрад происходил, Россия — это был мир жестокий и злой; это, как писал еще отец Конрада Аполло Коженевский: «государство, которое как домущник рассаживается среди европейских правительств».

И снова, спустя двадцать лет после прощания с родиной, мне кажется, что обида на Россию только усилилась по сравнению с той эпохой, когда ссылки и притеснения оставляли свой след в духовном мире Конрада и формировали его взгляды. На вопрос о России я часто слышу рефлекторный ответ: «Я не знаю о ней ничего». Те самые слова, которые Конрад, автор «Глазами Запада», испытывавший отвращение к Достоевскому (а ведь он признался когда-то, что «Достоевский глубок, как море»), проведший в России детство и потерявший там в ссылке в Вологде мать, написал Гарнету: «Я не знаю о России ничего». Когда я слушаю людей, потерявших в России или по вине русских своих близких, высказывающих суждения о России, я чувствую, что каждый из них в этот момент касается какой-то таинственной черты, перейти которую у него нет сил или он не в состоянии этого сделать, черты, за которой находится другой образ, другой взгляд на Россию, более сложный и более справедливый. Это отношение сквозь призму «слез своих святых и проклятых» отрезает нас не только от России, но и ото всего мира, который видит Россию или такой же одноцветной, только в цвете розовом, или полной противоречий и надежды, глазами Достоевского.

Нашему взгляду на страну, которая есть и будет нашим соседом, «потому что мы

17 Ор-От — псевдоним Артура Опмана (1867-1931), полковника Войска Польского, поэта и публициста.

не окружены морем, как Итальянский полуостров», соответствует — и надо об этом помнить — взгляд не менее упрощенный и наверняка не менее враждебный. «Кичливый лях» Пушкина и разные «полячишки» Достоевского, гениальные карикатуры на польское лицемерие, господскую гордость и патетическое красноречие без гарантий, точно так же искажают и разрушают подлинный образ Польши в глазах миллионов русских.

Милош, цитируя наиболее антирусские высказывания Кюстина или Маркса, верно отмечает, что все то что на Западе могло быть и было открытием — потому что так сильно отличалось от общепринятого мнения о России — в польской литературе было общим местом, банальностью (Милош пишет «стереотипом»). Он утверждает, что этот взгляд на Россию берет начало еще в старой Речи Посполитой, когда отношения между Польшей и Россией колебались между «комплексом неполноценности» и «манией величия», но все это не мешало шляхтичу с окраин, который физически и психически был родствен Конраду, питать своего рода склонность к русским. Ведь вина лежала не на отдельных русских, а на типе цивилизации, который всех и каждого заставляет деградировать.

Этот стереотип, кажется, снова вошел в Польшу в силу, подкрепленный новыми и при этом еще к а к и м и фактами и аргументами.

Образ бесчеловечной России, который несет и способен нести только разрушение и зло, не мог не развиваться и не стать популярным в Польше, Венгрии и во всех странах, на которые распространяется ее влияние. Для современного поляка русские — это люди, вывезшие полтора миллиона польских граждан на восток, обрекая значительную их часть на гибель; это они убили тысячи поляков в Катыни; они обманом вывезли в Москву шестнадцать лидеров Польского подпольного государства; они, опершись на винтовки, смотрели на падение Варшавы; это они управляли службами безопасности, которые пытали и мучили, это они подавили геройское восстание венгров советскими танками, это они с е й ч а с убили Имре Надя и его товарищей, полтора года спустя после подавления восстания. Так что ничего, ничего не изменилось и не может измениться, потому что это все та же Россия, прав был Мицкевич в третьей части «Дзядов», правы были Конрад, Кюстин и Маркс, который писал, что Москва сформировалась «в школе унижения, которой было страшное монгольское иго, а затем при Петре, соединившем политическую ловкость монгольского раба с гордыми амбициями правителя, которому от Чингисхана досталась миссия покорения мира».

Поэтому вновь, как когда-то на литовскую шляхту и на Конрада, действует на наше воображение образ России из «Дзядов», из «Смотра войска»:

*Такая смерть, (верного раба) терпение такое —
Геройство пса, но, право, не людское¹⁸.*

Но присутствует ли в нашем сознании и другой аспект Мицкевича — «друга москалей»?

18 Перевод В. Левика. Речь идет о замерзшем насмерть денщике, который ждал своего господина с шубой в руках, но не решился ни воспользоваться барской одеждой, ни уйти без позволения.

*Вы помните ль меня? Среди моих друзей,
Казненных, сосланных в снега пустынь угрюмых,
Сыны чужой земли! Вы также с давних дней
Гражданство обрели в моих заветных думах¹⁹.*

Каждый, кто хотя бы пару лет провел в России, читая это стихотворение, представляет лица своих друзей, свои собственные прекрасные воспоминания о России и русских.

Кому внятен сегодня одинокий голос Норвида, его замечания о России, затерянные в довоенном, теперь уже практически недоступном издании его писем. Но именно Норвид, враг «патриотического пуританства», восстает против однозначных оценок, он непреклонен ко всякому, кто поддается влиянию стереотипов, которым поддался даже Конрад, но не Норвид, который настолько далек от них, что в 1863-1864 годах нападает даже на Мицкевича, утверждая, что тот — не национальный, а только и с к л ю ч и т е л ь н ы й писатель.

«...Критическая несознательность в области мысли, — писал Норвид, — в области работы духа, и то же самое можно найти в исторической действительности. Так как исключительность Мицкевича называли национальностью, и называют сгорячечным восторгом, потому что неспособны к дискуссии, так же и в реальности примут исключительность за национальность. Когда Духинский рубанет им «москаль-китаец», они обрадуются, а когда кто-нибудь предостережет их, что сегодня народ состоит не только из отличного от других духа, но и из того, что объединяет, и что нельзя вырубить под корень 20 квадратных миль вокруг Польши, чтобы в ней был народный поэт и народный историк, то они на него плюнут — и таким образом усилят сепаратизм неприятеля, как уже это сделали, и ярость врагов до того, что, наконец, ловко устранят и друзей. Каждый анахронизм всегда одни и те же плоды приносит!».

«Только свободные люди, — пишет Норвид в другом письме, — только те, кто с колыбели не растут с выжженным железом клеймом РАБА, знают, что, граница с Россией, надо иметь в ней СВОЮ ПАРТИЮ, иначе столкнутся два МОНОЛИТА, не имеющие ничего общего, никакого посредника, а столкновение двух монолитов оставляет после себя ничто и полный крах всех сил».

Но, возможно, мои пессимистические замечания о том, что мы замурованы в польской *morale clause*, о нашей неспособности к объективному подходу к травмам, также односторонни.

Я встречал и знаю не одного поляка, который реагировал бы на эти вопросы скорее в духе Норвида, чем в духе «стереотипа». Я знаю людей, которых мучили, даже пытали, и которые не затаили обиды на Россию, более того, они покидали Россию со слезами, потому что русские отнеслись к ним по-братски, с огромным сочувствием,

19 Перевод В. Левика. Название «Русским друзьям» переводят также как «Друзьям-москалям».

потому что они нашли там людей, которые так же, как и они, страдали и так же пытались бороться с насилием. Много ли таких поляков? Не знаю.

Людей с таким отношением к России я встречал и среди поклонников русской литературы. Даже враги любой России, будь она царской, советской или «республиканской», даже они не могут не признавать величия и глубины русской литературы. Но они перечеркивают те органические связи, которые есть между русским кошмаром и русским гением, между жестокостью и милосердием, между изысканной, самой что ни на есть европейской культурой и варварством. Все это соединяется в одну реальность, и кто это целое перечеркивает, тот, будь он даже Конрадом, мыслит категориями вымысла, а не действительности. Русская литература, общечеловеческого значения и величия которой уже, кажется, никто, кроме В.А. Збышевского, не отрицает, связана с русской действительностью. Это элементарная правда.

В «Дневнике» Толстого за 1903 г. есть набросок рассказа «Божеское и человеческое». Этот рассказ казался мне образцом суровой и полной прозы, «безошибочной верности правде», как скажет о Толстом Пастернак. На каких-нибудь пяти страницах Толстой дает и портрет приговоренного к смертной казни через повешение противника любого насилия, молодого Светлогуба, и генерала-службиста, который его приговаривает, и матери приговоренного, и террориста, который мечтает об убийстве тысяч людей, и крестьянина-сектанта, который проводит годы в тюрьмах за то, что ищет правды. Весь вечный русский мир, потому что вечны конфликты в этом рассказе — религия, свобода, насилие, фанатизм, любовь и самопожертвование. В полном московском издании Толстого есть описание истории создания этого рассказа. Какая абсолютная, едва преломленная действительность. Герой рассказа, Светлогуб, — это повешенный в Одессе в семидесятых годах Лизогуб, сын российского мелкопоместного дворянина и, видимо, польки (потому что Дунин-Борковской). Ткань рассказа настолько срослась с русской действительностью, что их невозможно разорвать. Это один из миллиона примеров такого сплава литературы и реальности.

*

Может ли образ жестокой и преступной России, нигде, наверное, не распространенный так, как в странах, поглощенных Россией или Советским Союзом или попавших под их влияние, удивлять русских, даже лучших из них, тех, которые не меньше нас страдают от существующего порядка вещей? Пропать, образовавшаяся между Россией и бывшими «подневольными» странами, — я имею в виду, прежде всего, Польшу и Венгрию, — настолько глубока, что разбить, побороть этот стократ усиленный стереотип, например, в Польше, кажется просто невозможным; если бы только не одна мысль, одна правда, более очевидная, чем когда-либо: свобода — одна, и душастый всех террор — один. Выход на улицы рабочих в Берлине, познанские протесты, октябрь, венгерское восстание, упорная, яростная внутренняя борьба внутри коммунистических партий всех стран после речи Хрущева на XX съезде — партий «монолитных» только в речах их предводителей — все это будет выглядеть трагическими, безнадежными жестами, если только Россия не подключится к этой борьбе, если не только польские, немецкие или венгерские рабочие, интеллектуалы или крестьяне готовы бороться за старый, потрепанный, столько раз подделанный

и оболганный, а все равно единственный лозунг свободы. Занавес «молчания, которое страшнее несчастья» покрывает Россию еще сильнее, чем 120 лет назад, когда Кюстин писал эти слова. Но мы знаем о бунте в Воркуте, знаем об обстановке в университетах, в ВУЗ-ах, знаем о крайне антисоветских настроениях самого младшего поколения молодежи, политическое самосознание которой формировалось в период XX съезда. Везде, где хотя бы просвечивает свобода мысли, эта свобода рождает свободу. Поэтому взгляд на Россию как на страну, в которой есть только «одна страсть — послушание», это взгляд ложный из-за своей односторонности.

Толстой в «Воскресении» описывает молодую траву, которая весной пытается прорасти даже сквозь тюремные камни. Без надежды на то, что в России не угасла воля к борьбе, что и там можно добиться более свободной жизни, для которой гибло столько поколений русских, без этой надежды все попытки либерализации, все попытки ревизионизма в странах, подконтрольных России, выглядят как отчаянные движения утопающих.

Только тогда люди, которые знают Россию не только как школу унижения, но также и как мир человеческой борьбы и любви, только тогда эти «друзья москалей» могут взять слово и бороться с тем образом России исключительно жестокой и исключительно бесчеловечной. Если удастся заново обрести инстинкт утраченной солидарности с той другой Россией, которая никогда не переставала существовать, то только тогда мы можем мечтать о будущем, которое не будет, как пишет Норвид, «столкновением двух монолитов, оставляющим ничто и полный крах всех сил».

*«Культура», 1958, № 9
Перевод Анастасии Векишиной*

ВЫРВАННЫЕ СТРАНИЦЫ

9.III.1962

Восемь часов, пробуждение. Старость: рост часов бездумных, часов небытия? Обязательно ли? Усилие жить, ходить, когда болит позвоночник, усилие успеть и всё запомнить, когда слабеет память, когда растут пробелы во внимании, когда растёт нужда в отдыхе, одиночестве, а в то же время не угасла жажда общения, когда воображение, желания моложе тела, которое уже нужно двигать. Но взамен мысль может оказаться глубже — опыт лет труда, да и мыслей, лет жизни, как в рисунке: рисунок — лучше, хотя рисования, живописи в день, в часах — меньше. Но не надо позволять уносить себя воображению, надо знать, на что ты годен и на что нет, ограничиваться. (...)

Вчера я выходил из «Гранд-Шомьер» после рисования — иду в «Дом» позвонить. По ошибке выхожу по другой лестнице и попадаю в бар: тихая, сентиментальная, эротическая музыка какой-то играй-машины, приглушенный свет, какая-то пара. Хочу остаться, с кем-то новым поговорить, кого-то нового открыть. Значит, до смерти эти рефлексy, порывы, начинать жизнь сначала, когда ты на это уже совсем не годен! Это было одно мгновение, и быстро вернулся на метро домой.

19.III.1963

«Как будто жизнь создана для удовольствия». Эта мысль при пробуждении. Ироническая по отношению к себе. Но не в этом дело, дело в отсутствии воли.

16.IV.63

Потребность добраться до какого-то слоя более истинного, значительного? Ну не буду же я в сторонке в свободные минуты ходить «больных посещать», чтобы заглушить в себе свое ничтожество, чтобы чувствовать «да-да, теперь в моей жизни есть смысл!». Тогда бы уж мне пришлось только это делать, бросить мою нынешнюю жизнь. И сразу мысль — писать воспоминания и тем самым добраться до более глубокого слоя в себе. Есть ли смысл писать воспоминания?

А может, это просто-напросто побег от живописи, в которой я с некоторого времени снова стою перед стенкой: повторяюсь, или мне кажется, что повторяюсь, или иду от поражения к поражению.

Сознание этой границы — неулавливаемой и обычно неуловимой — между жизнью по-настоящему и жизнью как будто. Всё, что я неясно чувствовал в живописи, — это какой-то «обморок», я же могу еще, и еще, и еще писать кафе, цветы, но с минуты, когда пропадает ощущение, что через эту живопись я вхожу глубже и дальше, живопись меня уже не питает, ничего не рождает, отступает назад.

Писать воспоминания? Лишь так увиденные мною вдруг вчера ночью — где даже детство мое, казалось мне, вижу иначе, не от тех выступов жизни, которые я помню волей, но изнутри, *mémoire involontaire*.

Вчера я видел и маму в малой гостиной, и себя на ковре, и гиацинты, и мое возле нее счастье или, скорее, безопасность, и как она приходила утром в комнату бабуси, как мы кидались в ее объятия; ее худенькая вышина, золотые волосы, большие руки и черное платье с аппликациями «как черные безвременники». И мое безразличие, и мой смех в саду в те часы, когда она умирала, и слова барышни Скроуп: «Какой ты счастливый, что ничего не понимаешь», — и сияющий на солнце гроб, и как я выжимал из себя слезы.

Моя удивительная недоразвитость в детстве, никаких воспоминаний о сексуализмах, эротизмах. Музыка, книги? Первые впечатления намного позже. Музыка и старая боль отклика на ссоры, но тут уж я дохожу до того, что хорошо помню и что мне вовсе не открывается так, как вчера ночью. Никаких других указаний я теперь из этого ночного переживания извлечь не могу, я был вырван из сна в какое-то другое, более глубокое состояние, с более истинными картинами. Сегодня я могу только снова изо дня в день бороться за более полные дни в труде и ждать таких минут в живописи.

17.IV.1963

«Как ты держишься, ну какой же ты молодой...» — это становится все более мнимо, все больше сил уходит на поддержание этой иллюзии, фасада, за которым ничего нет. «Человек пишет [в живописи] процент от созерцания», — писал Норвид, но человек живет процент того, что в нем происходит, того, что если оно не созерцание, то рядом, около и чего наружу не видно. Всё остальное — уже окаменелости.

Среда 2. VI

Нет лучше болезни, даже малой, как лекарства от крайней усталости. Вдруг появляется время на всё, когда прямо перед тем, как заболеешь, казалось, что его уж нет ни на что, и работа, которая идет всё хуже, не сдвигается, а под носом обязательства, даты, на которые уже нет сил. Полугорячка, полугрипп, и сразу всё отходит, обязательства вычеркиваешь (никакой драмы), даты передвигаешь, чего-то там не выполняешь, зато нервы успокаиваются, и чувствуешь, что можешь быть способен к настоящему труду, сосредоточенному и неспешному, без розги.

(Воспоминание: 1927 год. Тиф, а потом недели выздоровления, этот тиф вырвал меня из тупика в живописи, из безнадежного перетягиванья нервов, я начал видеть как никогда прежде, только тогда во мне начали соединяться переживание, глаз и рука.)

Я закончил «Космос» Гомбровича. «Всособность». Человек, который потерял связь с миром. Когда-то, много лет назад, зацепило меня в «Леди Чаттерлей» ощущение, что для героини этой книги вся природа, трава и деревья — окна, что до романа этой женщины ее контакт с мир был порван. Как же остро я чувствовал это в армии в 1920 году, на войне: вечерний запах леса, деревушек, когда в них въезжаешь, конского пота и кожи, уланы здоровые и в каком-то смысле полные, — в жизни. Помню тогда то самое чувство стеклянных окон, которые как будто отделяли меня от природы, я был вне ее. Много лет спустя я нашел в этой книге свои собственные переживания. Я же выскочил из этой смерти чувств, за эти окна, за эту «всособность» (словцо Гомбровича) отчетливо двумя путями. Я начал жить физически. До того я страстно влюблялся, но ничего себе не позволял. Во многих случаях я даже не знал, чего хочу, перекидывая все мои желания на идеологию. Второй путь, который меня сквозь годы усилий, труда *les yeux amers* из этой всособности освободил, — это живопись. Не какое-то там вдохновение, а нудное изучение природы. Исследовать ее, вгрызаться в нее — вот что дало мне спустя месяцы и годы первый непосредственный и полный с ней контакт. Вдохновение означает работу в горячке, соединенную с какой-то усиленной, холодной ясностью, — такие состояния были настолько крайне редки поначалу, что, пожалуй, только лет через семь — больше, девять — стали появляться чаще. Но откуда я знал, что это мой путь, — почему? Я даже не рассуждал, что, может, это не тот путь, когда шел от поражения к поражению. Мое освобождение шло по этому пути, а также в принятой половой жизни, которая дала мне сто грехов, вин перед другими, но вырвала меня из абсолютного одиночества, которое я ощущал перед лицом окружавшей меня природы, только не перед Богом. И вот как раз тогда, когда я замуровал себя сексуально, причем принял это как долг, необходимость, — мой путь к Богу был незамутненным, открытым. Если б я тогда на том пути выдержал, может, мог бы жить жизнью мистики. Но, пожалуй, я никогда до конца и по-настоящему не чувствовал себя к этому избранным, предназначенным.

6. VI.1965

Рекорды. Сюзанна. Родом англичанка, безрелигиозная, отец, когда-то очень богатый, всё спустил на бегах. Ей сейчас около шестидесяти лет, с тридцати четырех без единого дня отпуска, без выходных, без выезда. Железное здоровье. Она медсестра в Мезон-Лафите. На своем «Солексе» постоянно ездит делать уколы. Одевает трупы в гроб, раньше жила с нервнобольным отцом, ныне уже покойным, и матерью-старушкой, та тоже уже умерла. Теперь живет одна в домике на юру, который постепенно разваливается. Выбитые окна, грязь и холод. Отправляет посылки в Польшу. Изощренно выдумывает, как бы с каждого пациента не брать денег: один старый, другой бедный, тот на войне был, этот — друг. Влюблена в животных. Прежде всего в кошек, которых кормит, лечит и берет на содержание, когда хозяева выезжают. Воплощенное самопожертвование. Доброта, улыбка. А при этом какое-то детское чувство рекорда, рекорда труда, энергии, помощи людям и даже дурных условий. Вода в коленях. Еще и еще в той же самой работе. Но уже без сил, с ощущением, что уже не сможет так дальше жить, подниматься и спускаться, сотни лестниц в день, а иначе жить не может, не умеет. Конец. Сломленная, нет сил обдумать и перестроить свою жизнь с теми возможностями и силами, которые ей еще остались. Вся

жизнь — образец, и ощущение полной отчаяния и одиночества старости впереди, и принять ее, вообразить себе она не может и не хочет.

Никогда не забуду, как она меня вызвала к одиннадцати вечера к себе в домик в холодную зимнюю ночь. Речь шла о каком-то переводе списка вещей, которые она отправляла в Польшу моим родным. Она просила прийти между одиннадцатью и полуночью, на тот единственный час, когда ее можно застать. Полутемная кухня, освещенная жалкой лампочкой. Сюзанна варит в огромном котле какие-то остатки рыбы, которые ей каждый день дают в ресторане даром. Я еще вижу большой глаз, наверное карпа, морда которого торчит из темной воды. Вокруг этой кастрюли сидят семь или восемь кошек, в совершенно неподвижных позах, напряженно ждут этого ночного королевского пиршества. Сюзанна среди своих кошек ночью, улыбающаяся и в самом деле молодая и радостная после целого дня тяжелого труда, разъездов, в холод и дождь, посещений тяжелобольных и умирающих, теперь дождалась своего пурпурного часа, своего праздника.

Если б она жила в Средние века, ее сожгли бы вместе с кошками как ведьму — эту самую лучшую из женщин, самую исполненную самопожертвования, с одной только слабостью — гонкой за рекордом.

В книге Иоанна Кассиана (IV век) есть описание отшельника, который жалуется, что когда он был среди братии в монастыре, то мог жить, съедая, скажем, сухарик в день. А теперь, когда живет сам в пустыни, ему приходится съедать целых три сухарика в день. И святой пустынный или духовник объясняет ему: «Тогда тебя питало восхищение твоих собратьев, восхищение твоей добродетелью, а теперь, в одиночестве, нет восхищения, поэтому тебе приходится есть больше сухариков» (повторяю неточно по далекой памяти).

Эта гонка за рекордом, этот культ рекорда, благородная форма амбициозности, превознесения над другими. Сколько во мне этого было и есть? Достичь ясности настроения, теряя всё: друзей, способность к труду. Постепенно вычеркивать себя из мира на этом пути; тогда ты можешь встретить неожиданное и стыдливое открытие, где то, что ты считал в себе наилучшим, чем жил, чем в душе был горд, оказывается вовсе не добродетелью, а формой суесть, амбиций, эгоизма, близкородственного людам, которые копят деньги, собирают сокровища или лезут вверх по социальной лестнице за орденами и степенями.

7.VI.1965

Напротив кафе «Бишетт» в пасмурную погоду. Велосипеды на фоне зеленоватой стены и черной ямы внутренностей кафе напротив. Что в этом нового? Новое — что вижу всё четче, как будто на ощупь конкретней (впрочем, по-прежнему эти видения — как только мне покажется, что я уже достиг их на своем полотне, — сбегает всё дальше и дальше, как призраки), я чувствую себя всё дальше от абстракции, может, это просто такая минута, но объяснить это в себе могу только неуклонным, постоянным трудом, от которого всё время отрываюсь для другой работы или отношений с людьми. Даже не столько речь идет о людях — когда я живописно раскручен, люди до какого-то предела

мне нужны, питают меня, но я срываю, зарываю труд, когда пишу, а писать — накатывает на меня, как необходимость и натиск, тут я становлюсь слабым, как только принимаюсь писать. Писать — втягивает, течение труда слабеет, и тогда мне всё мешает.

23.VI.1965

Запись в кафе в перерыв.

Когда я чувствую, что скудеет моя восприимчивость, изобретательность, цвет при работе по памяти (изобретательность? — дурное слово; открытие того, что должно быть, это не выдумывание: если есть выбор, то в первооснове — эта тяжесть, этот акцент, этот звук) и когда, долго писав по памяти, я снова возвращаюсь к изучению на натуре (сегодняшний натюрморт), у меня возникает чувство неслыханного обогащения. Насколько же мои «творческие» неожиданности в работе по памяти кажутся мне тогда ограниченными в сравнении с миром неограниченных неожиданностей, которые дает обычная тряпка, брошенная на обычный стол, или банальный букет.

9.XI.1962

Всегда одна и та же борьба, никогда не доигранная, между видением художника и натурой, которую то любишь, то ненавидишь, потому что любой ценой хочешь освободиться из ее неволи, то опять возвращаешься к ней, алчущий и жаждущий, возвращаешься, как блудный сын.

Суббота 11.XI.1962

Проснулся со страшной усталостью, как будто вчера пахал. Ночью сон: какая-то колоссальная вода, безумно быстро бегущая, и я на ней по-сумасшедшему на лодке всё ж таки удерживаюсь, — но этот поток великих вод — слёзы? Думаю о том юношеском монахе, который гнался за поющей птицей, слушал ее пение и вдруг увидел себя, свое лицо в зеркале пруда, лицо старика с белой бородой. Теперь уж старый, надо, чтоб и я так «погрузился» и проснулся стариком. Эта неделя кажется мне хорошей, но даже этот вчерашний пейзаж, который казался мне уже воистину моим, сегодня я его вижу тяжелым: déjà vu.

12.VII.1965

Пейзаж и туризм. Чуждость, а как часто и фальшь туризма, которую я всегда ощущал. Пейзаж, в который ты не вошел, который остался внешним, — тогда старый стол с бутылкой терпентина больше говорит. Греет. Самый прекрасный пейзаж дает только усиленное чувство одиночества и печали. Мой былой испанский опыт, в том числе и Диано Марино, — но это чувство может быть и плодотворным, может быть силой. Мир через чуждость. То есть если бы я тогда не чувствовал себя таким одиноким, этот пейзаж мог бы остаться у меня в памяти как воплощение счастья, но, вероятно, я не видел бы его так ощутимо и не описал бы так, как описал в своей «Испании».

Лицо молодого человека в белой рубашке на ступеньках вагона в жарком

полумраке, отблески раскуриваемой сигареты на рубашке, на лице, под бровями и под носом. Светлота верхней губы, золото-розовое, холодно-коричневые, серебро поручней, темная бутылочная зелень вагона. (Слишком устал, чтобы записать.)

Речь не о реализме или антиреализме, речь о правде. О какой правде? Об обязанности, необходимости передать то, что видишь, в самой близкой к этому форме

Первое переживание природы примерно за час до Гренобля, горы разной синевы, голубизны, под пресветлым небом, светло-голубым и золотым. Тополи в густой зелени долины.

13.I.1970

Боже, помоги маловерию моему. Чего в тебе нет, это любви к Богу, и — от чего умирала С[имона] В[ейль] — невозможность принять совершенство Божие и несчастья человеческие проявляется во мне не в любви к Богу, а в претензиях к Нему, в конечном счете я не верю в Бога справедливости, любви, совершенства. Как бы сегодня Симона Вейль, плакавшая над китайскими детьми, о которых прочитала в газете, что погибают с голоду, реагировала на детей Биафры и угрозу полного истребления этого населения, в защиту которого выступает Папа, не умея даже сказать нескольких слов без дипломатических «но всё-таки» и «до известной степени»? И что переменилось? Ничего! Катынь, Польша — но это события в мире такие же заурядные, как новый геноцид, Биафра, о которой говорит сегодня радио за утренним завтраком. Но у С.В. есть еще что-то другое, и я хотел бы как тонущий уцепиться за это, чтобы не погибнуть: «Христианин знает, что одна-единственная мысль любви, вознесенной к Богу в истине, пусть немая и без отклика, полезнее этому миру, чем даже самый замечательный подвиг».

Веришь ли ты в это действительно? Разве ты всем собою не чувствуешь, не ощущаешь совершенно иначе: что эта мысль любви, веками возносимой сотнями и сотнями тысяч монахов и монахинь из созерцательных орденов, не переменила и не переменила хода мира сего, так же, как и самые громкие поступки, ибо страдание, ибо обида людей, животных, любой твари — самая существенная нить в клубке бытия. Так почему, почему это одно предложение С.В. для меня так важно? Потому что оно спасает меня от распада, потому что дает надежду; и не только — дает мне сознание того, откуда я жду помощи: где еще на дне себя я чувствую в себе надежду — предчувствие? уверенность? — на свет. Ох, как я сам ненавижу свои возвышенные слова. Без любви, без настоящего самопожертвования мои возвышенные рассуждения и распад моей души. Эти вздохи, заламыванье рук в теплой постели — если они не соединены с принятием самых ближних обязанностей, «делай, что можешь», не как напоминание, но в духе и истине, в смирении и молчании — только риторика и дурная литература. Потому-то С.В. спасает: там нет риторики и дурной литературы, ибо ее мысли, возносимые к Богу, кажутся мне важнее для мира, чем что угодно.

Может быть, нарастающий вывод, если говорить о дневнике, — это полная двухколейность того, что я пишу для себя, то есть только как что-то интимное для меня, а рядом материал мыслей, цитат, наблюдений, которые годятся в «Вырванные

страницы». Сам факт, что я их печатал, обогатил мои дневники 68-го года, может любопытные заметки, «съедобные» для других, но для меня опустошенные от того, что бесконечно важнее, что только для меня, — эти попытки спасти себя от распада души, эти попытки зацепиться, как зубьями шестеренки, за другой мир, который я выдаю в своей «мышьей беготне», в своей усталости и рассеянности, а выдавая его — погибаю. Что же тут может С.В. Может, только одно самое важное на мгновение ока переживание, которое вызывает во мне контакт с ней, переживание своего распада в зеркале ее света.

13.III.1976, с утра

С самого утра читаю свой лепет на магнитофон, от страницы 60 до страницы 108. Лепет. Слова обрываются как попало, рядом, не те, что надо, как Момо в книге Аржака. А ведь именно в этом хаосе, где даже даты событий, их очередность во времени путаются, где самые существенные дела соединяются с самыми пустыми, как в моих дневниках, они передают ту ауру, действительность больше, чем обработанные серьезные рассказы. Поддаться этому потоку и только очищать? Тут есть какая-то деградация мысли, согласие на неловко выраженный хаос, но есть и то, что и в живописи я хотел бы назвать алеаторикой, то есть вторжением события и собственным вторжением, поправкой нетронутой неловкости, которая характеризует эскизы, наброски моих рисунков или начатые в горячке и брошенные полотна.

14.III.1976

Всё время ко мне возвращается чувство, что, расставляя по порядку художников, писателей, как боксеров или теннисистов: этот лучше, этот хуже, а этот еще хуже, — чувство, что мы обижаем их, что каждый из них, если он подлинный художник, единственен, и только тогда, когда он так воспринят, его ценность обнаруживается.

То же и со страданиями. Расставлять страдания в как будто бы объективную иерархию на основе объективной весомости причин, которые порождают боль, ложно, ибо любая боль единственна и несравнима.

Ежи Ст[емповский] много лет назад решил покончить с собой, потому что ему подали холодный кофе... То, что я сейчас писал, — тоже отчасти вопрос «холодного кофе». Этот эпизод Ежи сам мне рассказывал. Когда-то в молодости, будучи на юге Франции и в состоянии крайней депрессии, он не выходил из дома целыми днями, а раз вышел, уже поздно вечером, в маленькое кафе у моря выпить кофе. В кафе ему подали... холодный кофе. Это было уже чересчур. Он встал и пошел в море топить. (Конеч был жалкий: море оказалось таким мелким, что ему пришлось без конца бродить по колено, потом по пояс, и какое-то время спустя он повернул обратно... к жизни.)

15.III.1976

Сегодня в требнике изумительное Евангелие от Марка, 9:2-10: «И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма

белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить... (...) Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых».

Несколькими страницами дальше жестокий текст из Пятикнижия, самый жестокий: «...Авраам соорудил там алтарь. Положив на алтарь дрова, Авраам связал своего сына Исаака и положил его на лежавшие на алтаре дрова, а потом вынул нож и приготовился убить своего сына». Иоанн Кассиан описал то, что случилось в египетской пустыни в IV веке. Настоятель монастыря проводил такое же испытание веры и верности с человеком, который после смерти жены хотел, всё оставив, идти в монастырь вместе с восьмилетним сыном. Настоятель приказал своей братии, чтобы они мучили, били ребенка (описание ребенка в лохмотьях, грязного, осыпаемого руганью, с бороздами слез на щеках, мучимого в присутствии отца). Потом настоятель велел отцу отнести сына к реке и утопить. Кандидат в монахи настолько был отдан Богу, «что не позволил сердцу своему даже взволноваться муками ребенка», взял его на руки, чтоб бросить в реку. Но по приказу настоятеля у реки поставили монахов, чтобы они спасли утопающего. Кассиан прибавляет, что только из-за этого отец не выполнил приказа до конца.

18.III.1976

Отношения с людьми, если люди не очень близки друг другу, строятся на каком-то взаимном умалчивании — если это не забвение, то всё-таки готовность забыть в данную минуту и на минуту, взаимовнушение, что всё обстоит как можно лучше в лучшем из миров и что мы *еще* не умрем... — будем друг к другу ездить, и *вместе* пить чай, и смеяться!

Людей позабыть, и бывать у лиц, и галстук завязывать ловко! [Из стихотворения Циприана Норвида]

Речь идет об этом мире мнимостей, об этих декорациях. Если скажешь себе «не подчинюсь игре декораций», то сиди дома. Иначе будешь играть роль пугала, которого никто, подавая чай и принимая гостей, к себе не позовет!

И еще одно воспоминание. Димка [Философов] в его последние годы в Отвоцке, хронически больной, высокая температура, притом воспаление плеча от плохо сделанного укола. Живет он в пансионате, святочные дни близ Рождества. Этажом ниже столовая. Гости едят, пьют в эйфории, какой-то записной весельчак, директор фабрики, женщины. Димка мне говорит: «Я хотел бы написать такой рассказик, толпа праздничных гостей там внизу, веселящихся, пирующих, и вдруг я в пижаме спускаюсь вниз и вхожу в столовую», — но в любую минуту такое *temento* может нам явиться, чаще всего не бросаясь в глаза, и мы можем не заметить его заметить. Вчера на станции старик, вовсе не в лохмотьях, скорчившись на земле, башмаки на ногах без носков, лицо склонено так, чтоб его не было видно, равнодушно принимает милостыню. «Ну, естественно, нищий, наверняка обманывает и, может, так *зарабатывает*, ну и хорошо!» Таким мышлением человек

отгораживается от допущений, что человек этот, может быть, погибает, а несколькими франками его можно спасти... на минуту.

3.I.1979

Кажется, Бжозовский писал в своих записках: «Упаси меня, Боже, от неряшества интересов», — у меня по мере увядающих сил интересы эти не вянут, а скорее возрастают, возрастает жажда то или другое сделать, потому что сейчас или никогда, те или другие друзья — если сейчас их не вижу, то не увижу никогда. Надо бы уметь смотреть на себя, как Корчак, спокойно сознавая свои поражения.

Да, но он как будто до конца, еще в гетто за недели до смерти, планировал и мечтал о будущем, как юноша, как ребенок. Боже, дай мне закончить эту последнюю его апологию. Вдруг вспоминаю (1942!), что в одну из последних встреч с Марыней [сестрой автора], кажется, когда она пошла к нему в гетто, Корчак ей сказал: «Знаете, мне иногда кажется, что я как куколка и вылечу бабочкой, — а потом прибавил: — А может, это только склероз?»

*«Культура» 1962-1979 гг.
Перевод Натальи Горбаневской*

О БЖОЗОВСКОМ

*Непонятен был прежде всего сам человек,
который трактует проблемы интеллекта так,
словно это вопрос жизни и смерти.*

Чеслав Милош

Ренессанс Бжозовского? Об этом пока еще говорить рано. Какой ренессанс, если книги Бжозовского являются раритетами? Придется ли ждать выхода обещанного полного собрания его сочинений в Польше так же долго, как мы ждали собрания сочинений Норвида?

Помимо книги Анджея Ставара «О Бжозовском»²⁰, у нас теперь есть «Человек среди скорпионов» Чеслава Милоша²¹. Ставар осмыслил Бжозовского с точки зрения доктрины марксизма. В результате некоторые направления его мысли получили априори негативную оценку. Восхищение Бжозовского Пруденом *наряду* с почитанием Маркса, непосредственное и продолжительное влияние Сореля — все это для Ставара «голоса» индивидуалиста, «слабо разбирающегося в условиях общественного действия»; вся же религиозная сторона мысли Бжозовского — не более, чем выражение болезненной депрессии «патологического» романтика, естественное для смертельно больного писателя искушение. «Его мыслительная эпопея полна смелых прорывов... неужто ей суждено закончиться на пороге ризницы?» — пишет Ставар.

«Человек среди скорпионов» представляется мне первой попыткой осмыслить без предубеждений *всего* Бжозовского. Милош, видя в нем предтечу экзистенциальной философии, глубже проникает во внутреннюю логику развития мысли этого приверженца Маркса и кардинала Ньюмена, мысли сложной, разнонаправленной, нередко самой себе противоречащей. Трудно, пожалуй, найти более подходящего автора для создания такой книги: Милоша и Бжозовского многое роднит — интерес к одним и тем же общественным вопросам, одно и то же увлечение интеллектуальными проблемами и сознание их безусловной значимости, одна и та же щепетильность и восприимчивость к моральному аспекту вопросов, схожие колебания и терзания, которые автор не вуалирует и не скрывает, но, напротив, пытается доискаться до их смысла.

²⁰ Варшава: «Чытельник» 1961.

²¹ Париж: «Институт литератyki» 1962.

Милоша также пытались затравить и справа, и слева, но, к счастью для него и для нас, он выиграл. Бжозовский мог бы (будь он жив) сказать ему:

*Ты пойдешь верхом, ты пойдешь верхом
А я долиной.*

Контраст между сходством некоторых интеллектуальных сюжетов Бжозовского и Милоша и расхождением их жизненных путей поразительный.

«Человек среди скорпионов» вышел в мае, я ищу в «Культуре» и других изданиях рецензии на эту книгу, представляющуюся мне столь важной. Ничего — только любезно похлопывающий Милоша по плечу Гомбрович, который, впрочем, замечает, что Бжозовского не читал, что, однако, не мешает ему высказаться за Сенкевича и против Бжозовского²², а также очередной вклад покойного Побуг-Малиновского в «дело» Бжозовского, не вносящий и не могущий внести в него никакой ясности.

Я сам принадлежал к числу приверженцев Бжозовского, о которых Милош пишет, что они являлись приверженцами «эмоциональными», попросту неспособными объять философскую мысль писателя, я принадлежу к поколению, не исполнившему в отношении него свой элементарный долг — сегодня это сделал за нас Милош. Вдохновленный книгой «Человек среди скорпионов», я хотел бы попытаться через собственные воспоминания проникнуть в суть влияния Бжозовского на молодежь начала XX века и, сопоставив ряд текстов и фактов, подтвердить то, что Милош пишет об отношении Бжозовского к католицизму.

«... словно это вопрос жизни и смерти»

Говоря в начале своей книги о первых читателях Бжозовского, Милош утверждает, что они «или не понимали его вовсе, или понимали одну фразу из трех», что «кампании Бжозовского... снискали ему энтузиазм среди молодежи, однако это были, как правило, только эмоциональные приверженцы». Оценка представляется мне справедливой. Но в чем же заключалась эта сила его воздействия на «эмоциональных приверженцев», магия, которой я сам поддался до такой степени, что встречу с Бжозовским до сих пор считаю одним из важнейших событий в моей жизни? Будь я редким исключением, это можно было бы считать фактом лишь моей биографии, однако моя реакция на его труды, запоздавшая как минимум на десять лет и потому нетипичная, была в той же, если не большей степени, характерна для современной Бжозовскому прогрессивной молодежи. Не знаю, имелись ли у Жеромского, Выспянского и даже Пшибышевского столь же фанатичные друзья и сторонники.

«Легенда Молодой Польши» выходит дважды, в 1910 и в 1911 годах²³, во Львове, в издательстве Полонецкого. Около четырех тысяч экземпляров этого пятисотстраничного

22 Полемика с книгой Ставара содержится в ценной статье Ежи Фияса «Бжозовский, Ньюмен, католицизм» в «Тыгоднике повсехнем» от 5 августа 1962.

23 Даты я указываю вслед за Ежи Ижиковским по варшавскому изданию «Легенды» 1937 года.

философского труда, написанного языком трудным, порой невнятным и даже отталкивающе патетическим, распродается в Кракове в считанные дни!

Подозрения Бжозовского в предательстве и доносительстве, «дело» Бжозовского — это борьба обвинителей (вовсе не только скорпионов) с истово верящими Бжозовскому его приверженцами.

Тонкий читатель, даже понимая у Бжозовского «одну фразу из трех», ощущал *тон* писателя, характерный *démarche* его мысли, воплощение в слове личного опыта всего существа, а не только лишь отвлеченные, «профессорские» построения («не являющееся биографией — не существует вовсе»), связь с моральной ответственностью, словно бы стирание границ между процессом высказывания философа и художника.

Милош пишет: «Непонятен был прежде всего сам человек, который трактует проблемы интеллекта так, словно это вопрос жизни и смерти». Тут Милош ошибается. Как раз *эта* позиция снискала ему приверженцев. Всем, кому интеллектуальный горизонт Сенкевича казался не только тесным, но и фальшивым — Бжозовский пробивал окно в мир. Кроме того, он вырывал читателя из тисков светских *ни к чему не обязывающих* диспутов, из мира «подфилиппины»²⁴. «Тон» этих трудов заставлял читателя изменить свою позицию по отношению к жизни, всё представляло проблемой совести, обязывало по отношению к конкретной, *данной* действительности. Польше «инфантильной», «беспечной», «легкомысленной» и «праздной», с «призраком Рейтана, стерегущим порог каждой кладовой», польскому «Обераммергау» празднеств и напыщенных фраз Бжозовский противопоставлял иную картину и польской истории, и польского романтизма, противопоставлял Мохнацкого и Норвида, другое место Польши в современной Европе. Польша была для него единственным посредником, с помощью которого читатель мог не только занять свое место в мире — в широком, самом широком смысле, но и участвовать в судьбах этого мира. Уклоняться от этой задачи не имел права никто.

«Жизнь наша, я наше — это пост часового; когда мы с него уйдем — его потеряет всё человечество навсегда». Как же звучали тогда эти слова!

В этой борьбе за новое отношение к миру Бжозовский не был одинок, он *принадлежал* к «Молодой Польше». Еще в «Идеях» он говорит о том решающем влиянии, какое оказали на него Пшибышевский, Жеромский, Выспанский, Каспрович, даже открыватель Норвида, Мириам, на которого Бжозовский так нападал, Ижиковский, его современники, которых он то превозносил, то стирал в пыль своей критикой; они создали атмосферу, в которой труды Бжозовского могли воспламенять. Это было пробуждение мысли и искусства, по отношению к которому интеллектуальное и художественное наследие независимой Польши могло показаться плоским и вновь провинциальным.

24 После выхода романа польского прозаика, поэта, литературного критика Юзефа Вейсенгофа (1860–1932) «Жизнь и мысли Сигизмунда Подфилиппского» (1898), рисующего бесцельное существование аристократически-плутократической среды, термин «подфилиппина» стал для современников синонимом снобизма и беспардонного социального карьеризма — Примеч. пер.

Пытаясь разобраться в сущности «магического воздействия» Бжозовского на молодежь начала века, хочу вернуться к собственным воспоминаниям, как я уже писал, нехарактерным в силу сдвига во времени на десять с лишним лет, однако столь близким реакции молодежи на труды Бжозовского в 1905–1914 гг.

Я открыл для себя Бжозовского лишь в 1919 году, в Кракове, после инкубации в России. Еще в Петербурге, на школьной скамье, русская литература, российская действительность стали моим первым интеллектуальным опытом, наложившим на меня отпечаток. В Бжозовском я с первой же минуты увидел подобный накал мысли. В своих трудах он неоднократно говорит, скольким обязан России; утверждает, что русская общественная мысль была глубже польской, и даже видение Запада более полным и современным, чем в Польше (Мицкевич писал то же самое о России николаевской эпохи в своих письмах к Одынку).

Если я где-либо и когда-либо ощущал отношение к проблемам интеллекта как к вопросу жизни и смерти, то именно в России. Для либеральных русских это всегда были проблемы универсальные, связанные с Западом; по отношению к ним патриотизм Сенкевича казался провинциальным и лубочным. И в России, возможно, случались Подфилипские, хотя их, вероятно, заменяли глухие ко всему реакционеры («Il n'y a que la mitraille pour la canaille»²⁵ — говорил бывший министр, старый граф Пален, глядя в окно на большую демонстрацию в 1905 году). Но масштаб Российской империи, бесчисленные революционные движения, покушения, вся литература, начиная с проклятого Синодом Толстого с его поразительной нравственной позицией и смертью, с Достоевского, каторжника, реакционера и пророка, целой плеяды других крупных писателей, видимо, глушили этот тип поверхностного — светского и ни к чему не обязывающего — «мышления». Там также существовали «белая деревня в атласе яблоневого цвета», но «вырванные из земли дубы», «грязные волны» захлестывающие «через кладбищенскую стену», «тяжелыми гробами», о которых писал Норвид, ощущались обществом более непосредственно и, возможно, более жестко, чем в Польше — сорок с лишним лет спустя после восстания, после эпохи органического труда, оправдывавшего разного рода компромиссы.

Впервые в Краков я приехал в 1919 году, через восемь лет после смерти Бжозовского, когда его «дело» уже было далеким, довоенным прошлым. От Кракова Бжозовского меня отделяла война — вокруг был Краков независимой Польши. Я приехал из России, где пережил две революции; первую, февральскую — в Петербурге. Белые ночи того лета, в городе, охваченном ошеломительными надеждами и потрясениями, где не было молока и сахара, зато на площадях до утра толпились люди всех сословий, часами, группами, спокойно и страстно-сосредоточенно дискутировавшие о существовании и несуществовании Бога, о праведности и неправедности любой собственности, о братстве, об уничтожении всех границ, о новой справедливости. В том же Петербурге-Петрограде состоялся первый Всероссийский совет рабочих и солдатских депутатов, а председатель этого совета социалист Церетели, только что

25 «По мерзавцам — только картечью» (фр.)

выпущенный из царской тюрьмы, обратился к солдатам всех фронтов, призывая их сложить оружие, и брататься поверх горы трупов этой ужасной войны. С обрывком газеты, где было напечатано это воззвание, я не расставался долгие месяцы. Сегодня трудно понять, как тогда звучали эти обращенные ко всему миру слова братства. Новая надежда тысячелетия? Так случилось, что перед самой Октябрьской революцией я также присутствовал при двухчасовой взволнованной речи самого Церетели о распаде любой власти под натиском большевистской партии. Уже тогда судьба демократической России, казалось, была предрешена.

Позже, после победы Октябрьской революции, я еще дважды возвращался с фальшивыми документами в Петроград. Но это уже были две зимы террора, расстрелов, переполненных тюрем, голода.

Краков! Я еще никого там не знал, мое невежество в области польских дел мне самому сегодня кажется почти невероятным. В моих воспоминаниях о тогдашнем пребывании в Кракове нет ни Вавеля, ни холма Костюшко, ни Марицкого костела, но я отлично помню темную приемную какого-то дантиста, где на столе, под некрасивой лампой в стиле сецессион, среди захватанных, сотни раз пролистанных иллюстрированных журналов открыл для себя «Легенду молодой Польши». Я начал читать с середины первой главы: «Наше я и история». Перечитываю эту главу сегодня. Что же было в ней тогда такого потрясающего, что я просто физически чувствовал, как открываю нечто для себя самое главное?

Я вдруг понял всем своим существом, уже с первых страниц этой книги, что я не один, что я связан с целым миром, с историей, что одиночества не существует, что мои самые сокровенные мысли и переживания не являются лишь моей собственностью, что они имеют соответствия в мире, поскольку являются плодом не одних только моих размышлений, но всего исторического процесса, который мое сознание сформировал (бытие определяет сознание?), что я принадлежу истории, хочу я этого или нет, что я не только необходим, но никто за меня того, что я должен сделать, не сделает, и сделать не может.

Дальше, уже углубившись в эту книгу, я с упоением открывал то, чего Россия никогда не могла мне дать: что мой путь к идее человечества, очаровавший меня на Востоке, ведет *через Польшу*, что ее развитие я не только не должен, но не имею права игнорировать. Этот безжалостный памфлет на инфантильную Польшу, единственную, какую я до сих пор знал, открывал мне глаза на иную Польшу. Мой комплекс неполноценности по отношению к великой отчизне Толстого, Достоевского и революции исчез. Толстой был первым Учителем моей юности, но Достоевский, Ницше, Розанов, узнанные мною в мой последний приезд в Россию, благодаря Мережковскому и его жене, поэтессе Зинаиде Гиппиус, с которыми я провел несколько вечеров в их ледяной, не отапливаемой квартире на Сергеевской в Петербурге, освободили меня от Толстого, подготовив к Бжозовскому, к его видению истории.

В «Легенде» в одной из сносок Бжозовский пишет о Жорже Сореле:

«...каждому, кто освоит стиль Сореля, перенасыщенный живой мыслью, словно захваченный врасплох, — неизбежно покажется бесцветным любой другой стиль письма. Сорель не строит архитектурные литературные конструкции, но строит саму мысль, в голове читателя он словно бы создает новые клетки и мозговые связи, пробуждает мыслительные процессы, “образует призвания”, как он сам выражается».

Я бы не сумел лучше описать воздействие на меня текстов самого Бжозовского.

С тех пор Бжозовский всегда был со мной. Я уже жил в Польше и Польшей. Снова была война. В бронепоезде братьев Малаговских, потом в Креховецком полку я открывал для себя польскую молодежь — открытую, исполненную энтузиазма, оптимистически настроенную (все любили Сенкевича, для скольких молодых людей бои 1920 года были продолжением «Трилогии»), не помню, чтобы я встретил адептов Бжозовского. В бронепоезде пилсудчика Малаговского, где офицерами и рядовыми были, в основном, студенты, я столкнулся с приверженцами Жеромского и, естественно, Пилсудского. В зале ожидания на станции Новы Сонч, где ремонтировался наш поезд, а затем на фронте я читал вечерами Бжозовского, и он учил меня Польше. Его глазами я и глядел на эту молодежь. Даже Мицкевич, не говоря уже о Норвиде, пришел ко мне через Бжозовского. А Запад, и те фамилии, которые я большей частью слышал впервые, от Вико, Карлейла, Гёте, Бергсона и Сореля до Мередита, Браунинга, Блейка, Вильфредо Парето и Ньюмена, — все это были звезды на новом для меня небосклоне, которые я почитал, поскольку их упоминал Бжозовский. Лишь среди офицеров легионов я встретил нескольких ценителей Бжозовского и, благодаря Бжозовскому, нашел с ними общий язык.

*

Но осенью 1920 года, поступив в краковскую Академию художеств, я оказываюсь в совершенно новом мире, с другой атмосферой и другими реакциями. Словно тот язык, то видение мира были стерты новой, послевоенной реальностью. Коллеги, с которыми я позже связал свою судьбу, будущие каписты²⁶ — это уже люди, тронутые формизмом («Мускатный орех»²⁷), Маяковским (Бруно Ясенский), футуризмом, кубизмом.

Я вхожу в этот мир моих новых друзей, в совершенно иную интеллектуальную атмосферу беззаботной уверенности в себе, победного оптимизма и чувственной радости жизни.

Эта молодежь из всех сил старается забыть, что по этой же Академии еще совсем недавно ходили длинноволосые художники в длинных пелеринах. Для моих товарищей я представляю собой явление довольно-таки анахроническое. У меня другие, чем у них, мыслительные и эмоциональные реакции. И это радостное приятие жизни выходит у меня немного вымученным — это не мой мир. Я ощущаю себя все

26 Члены КП (Комитета парижского) — группы художников, созданной в 1923 году в Академии художеств в Кракове — Примеч. пер.

27 Клуб футуристов, созданный в 1921 г. в Кракове — Примеч. пер.

более комичным эпигоном Молодой Польши, к которой никогда не принадлежал. Я и сегодня помню одну сценку из того периода.

Весной 1921 года (или уже 1922?) мои товарищи то и дело удирали из мастерской, часами плескались в Висле и загорали на пляже. Лежа, обнаженный, на песке, один из самых талантливых («Меньше всего работает и все время двигается вперед» — укоризненно-уважительно вздыхал профессор) говорит мне, убежденный, что высказывает глубокую и *современную* философскую мысль: «Не знаю, что важнее — загорать или рисовать».

Я молчу, потому что в этой атмосфере безмятежного наслаждения вдруг почти физически ощущаю затхлую подвальную атмосферу несвободы, обиды, трагедии, о которой эти мальчики ничего не знают и знать не хотят. Выспанский, здесь в Кракове умирающий от сифилиса, туберкулез и нищета Жеромского, окруженного осуждением правоверных, туберкулез, нищета и позорный процесс над Бжозовским, его смерть во Флоренции. Ощущаю ли я по отношению к ним свою вину, предательство? Из-за того, что молчу о них? Но кому я должен о них рассказывать? Товарищам по Академии? Молодая Польша, которую я только что для себя открыл, для них — тень навсегда ушедшего прошлого, но прежде всего — литература, которую невозможно читать. «Как ты можешь читать Жеромского, если есть Бальзак и Шекспир?» — говорит мне один из них. Когда я читаю другому «Освобождение», он кривится, словно я заставляю его проглотить укус. — «Все это, похоже, в горячечном бреде писано». — Бжозовского они не знают и знать не хотят. Очередной призрак из прошлого. Долой призраков!

С годами, увлеченный собственной жизнью, своей работой, группой художников, с которыми я делю судьбу, Парижем, в который я отправляюсь в 1924 году, я перестаю следить за участием трудов Бжозовского. Если и встречаю в польской прессе, которую время от времени читаю, статьи о нем, то непременно снова о «деле». Был он предателем или не был? — оклеветанный идейными противниками, которых не щадил, заподозренный в том, что служил осведомителем Охранки. Большая часть польского общественного мнения верит скорее «обращенному» агенту Охранки, который сам признается, что пытал узников, нежели свидетельствам самого Бжозовского и его друзей. Еще в 1918 году Жеромский, призывая к созданию Литературной академии²⁸, требовал, прежде всего, разобраться в этом тяготеющем над Бжозовским обвинении: *или он будет оправдан, или вина его будет доказана, и творчество в этом случае вычеркнуто из скрижалей польской культуры*. Столь радикальная позиция вовсе не была тогда в Польше редкостью. Примерно в 1925 году во Франции я встретил выдающегося эсера И. Фондаминского. За одно из покушений он еще царским правительством был приговорен к смерти; приговор заменили пожизненной ссылкой в Сибирь. Он бежал отсюда и осел в Париже в 1905 году; вернулся в Россию в 1917, затем снова оказался в Париже, уже как эмигрант. В кругах левой антибольшевистской эмиграции он был чуть ли не святым, всеми почитаемым, не имевшим врагов (Фондаминский умер в немецком лагере во время последней войны). Так вот, он заинтересовался наследием Бжозовского. Я попытался изложить Фондаминскому его философию, богатство его идей, которое не могли вместить рамки ни одной из тогдашних партий, рассказал о его отношении

28 Цитирую по Ставару.

к вопросу религии и о его смерти. Фондаминский слушал с огромным интересом. Для него, русского представителя поколения Бжозовского, это была близкая по духу фигура, он находил в польском писателе те болевые точки, которые сам ощущал с подобной же силой. Я начал рассказывать о «деле» и моментально ощутил его нетерпение и почти раздражение, наконец Фондаминский взорвался: «Зачем вы мне все это рассказываете, какое мне до этого дело, *даже если это так*, даже если он в какой-то момент уступил омерзительному шантажу, какое это может иметь значение!»

Я привожу примеры обеих реакций на «дело» Бжозовского, характерные, если говорить об оценке приоритетов: нравственность писателя или плоды его мысли.

Сам я искал, как уметь, объективного подтверждения своим убеждениям, своей уверенности, что все это «дело» сфабриковано врагами Бжозовского, «скорпионами», что это клевета. Я познакомился тогда в Париже с Рафалом Бубером, через его сына, который там учился. Этот благородный, верный друг и защитник писателя множеством конкретных фактов подтвердил мои предположения. После прочтения главы книги Милоша, где он классифицирует все доступные ему материалы вместе с заявлением Бжозовского 1908 года, «криком тонущего», после смерти свидетелей, защитников и обвинителей любое возвращение к «делу» представляется мне лишь умножением мешанины все более отдаленных во времени и от этого все менее точных сведений и домыслов. Не пора ли «дело» *заккрыть* и заняться, наконец, исключительно идеями Бжозовского, так, как занялись ими и Ставар и Милош?

«Дневник» Бжозовского

Не помню, чтобы в те годы я более глубоко перечитывал труды Бжозовского, за исключением «Дневника» — этих изданных посмертно, лихорадочных записей последних нескольких месяцев его жизни. Эта книжечка — единственный известный мне польский *journal intime*. Сколько таких существует во Франции, от Мен де Бирана до Симоны Вайль. А как еще можно назвать эти мысли, наскоро вписываемые в школьные тетради? «Дневник» Бжозовского — книга, которая останется в польской литературе. Если можно было бы переиздать хотя бы это последнее слово затравленного писателя! Сам стиль этих заметок, ясный, точный, вибрирующий от внутреннего жара, показывает, чего достиг Бжозовский. Эту книгу нельзя просто прочесть, с ней нужно сосуществовать. Исчезает младопольская патетика, юношеское проповедничество, здесь мы видим постоянные расчеты с самим собой — безжалостные, и нечеловеческие усилия не утратить ничего из того, что еще хочется или необходимо выразить. Оклеветанный, словно бы выброшенный за рамки польского общества, умирающий в далекой Флоренции, он записывает: «Не стоическая несокрушимость, а превозможение терзающих ран», пишет о способности простить, являющейся критерием силы, о пустыни одиночества среди «глупости и мелочных воплей польского бытия». Стремительными штрихами Бжозовский освещает целые области проблем и мыслей, там нет страницы, которая не заставляла бы читателя задуматься и подвести собственные итоги совести. Он пишет о литературе, противопоставляя ее чистой политике, о литературе, считаемой роскошью, как об «одном из самых верных путей, ведущих к освобождению от чудовищно глупых и развращающих политических суеверий». Мечтает о том, что, будь у него больше времени, он изменил бы «характер польской литературы на целые поколения» и был бы

счастлив. За четыре месяца до смерти Бжозовский записывает: «Если бы я мог, если бы я только мог проучиться еще год, всего один год». Обращается к друзьям с отчаянной просьбой принести книги, которых ждет месяцами, ему не на что их купить, а в них он нуждается больше, чем в хлебе.

Бжозовский сурово оценивает своих друзей, молодых польских интеллектуалов, стремящихся к тому, чтобы «жизнь доставляла им удовольствие, удовольствие лично им, и если она таковой не является, это кажется им важным, достойным объективного изучения. Они моментально втягивают в дискуссию общество, Польшу, бытие, потому лишь, что, видите ли, у той или иной мелкой индивидуальности прервалось „ощущение удовольствия“».

Сколько же мыслей и замечаний, на сколько тем, которые могли бы, проживи Бжозовский подольше, разрастись в самостоятельные исследования о противоречивости любого искусства, поскольку «художественность определяется элементами, которые меняются медленнее всего», о лживости народного просвещения, если оно опирается на «веру в народ», без веры в правду и заботу о ней. Нет страницы, где бы читатель вчерашний, сегодняшний, завтрашний не нашел мыслей, которые касаются лично его, которые его то поддерживают, то осуждают. Как же немного людей в годы независимости вчитывались в эту книжечку, и кто читает ее сегодня, если ее и раздобыть-то негде? Всякий интеллектual знал «Дневник» Жида или «Путешествие на край ночи» Селина. А кто знал это польское путешествие на край ночи, кого оно интересовало? Как сегодня Гомбрович, так в то время Слонимский отстранялся от Бжозовского. Бжозовским, — писал тогда Слонимский — «интересуются лишь снобы да религиозные ханжи».

Сам я тогда для Бжозовского ничего не сделал, так что я разделяю эту ответственность со всеми остальными. Мое письмо в связи с этим делом, которое я послал в «Ведомости» и которое упоминает Милош, было равнозначно бездействию. Помню, как Философов сказал мне: «Ты думаешь, так защищают память писателя? Написал три слова и снова уезжаешь в Париж? — Сказал: не разрешаю — и бежал на Прагу²⁹. — От такой защиты никакой пользы быть не может». Ее и не было.

«Суеверие о Боге»

Есть одна проблема, которая не дает Бжозовскому покоя с ранних лет, ему, бывшему в молодости воинствующим материалистом. Неожиданным образом он затрагивает ее уже в «Философии польского романтизма»; это проблема католицизма. Следует помнить, что антикатолицизм являлся тогда догматом прогрессивных кругов. Отношение же Бжозовского к католицизму выходит за эти рамки. Ставар обнаруживает здесь «естественное искушение», Богдан Суходольский — последовательный путь материалиста к католицизму. Густав Герлинг-Грудзинский в предисловии к «Философии польского романтизма», переизданной в Риме в 1945 году, утверждает, что гипотеза Суходольского абсолютно неубедительна. Я не

29 „Сказал: не разрешаю — и бежал на Прагу” — цитата из пьесы Ю. Немцевича (1757–1841) «Возвращение депутата» (1791) — Примеч. пер.

знаю книги Суходольского, но доверяю оценке Грудзинского, высказанной в его очень интересном и вдумчивом тексте. Отношение Бжозовского к католицизму следует рассматривать под совершенно другим углом, чем это сделали Ставар и Суходольский. Сегодня, после Симоны Вайль, было бы легче охватить и понять переживания Бжозовского. «Крайнее сомнение становится, само об этом не ведая, органом веры», — пишет Бжозовский. Эти слова могла бы написать Симона Вайль в своем «Очистительном атеизме» из книги «Тяжесть и благодать».

Уже в «Легенде» мы встречаем высказывания Бжозовского о католицизме; они полны сомнений. В главе «Мифы» Бжозовский пишет: «В довольно широкой перспективе сегодняшний период в культуре можно рассматривать как *распад католицизма*». В конце книги он пишет: «Порой мне кажется, что я должен написать *Пресуществление*». Он видит в католицизме общественное творение, высочайшее, какое создал мир. Обращаясь в «Легенде» к Норвиду и противопоставляя его Сенкевичу, Бжозовский называет его «одним из самых католических, наиболее католических умов столетия, наиболее безусловно католическим из всех наших поэтов». При этом он не перестает осуждать официальный польский католицизм и видит в нем «фактор культурной изоляции, а отнюдь не единства с процессами, которые развиваются, разрастаются и углубляются на Западе». Нигде отношение между католицизмом, глубокой моральной дисциплиной, охватывающей все бытие, и народным католицизмом не кажется ему столь деморализующим, как в Польше.

Говоря о Бодлере, о его просто-таки героической внутренней праведности, Бжозовский связывает ее с католицизмом поэта, поскольку:

«... католицизм опирается на убеждение, что жизнь каждого отдельного человека является частью неустанной борьбы, которую ведет искупленное человечество против Сатаны. Здесь важно всё».

«Католицизм объединяет понятие наиболее глубоко понимаемого универсализма с ощущением бесконечной значимости бытия каждой индивидуальности, каждой отдельной души».

Он снова возвращается к этому в «Одинокой душе»:

«Католицизм как чувство заключается в постоянном общении с целым... позиция мужская, закаленная, а не холодная, — возвышающая и братская, это одно из самых гордых творений человека, самых зрелых плодов его истории».

В главе о Выспянском Бжозовский также развивает идеи, связанные с пониманием католицизма, одновременно жестко осуждая польских «национальных» католиков. А в конце книги мы обнаруживаем такую фразу:

«Теперь, когда я ощущаю в себе непреодолимое стремление рассматривать все жизненные вопросы таким универсальным и одновременно индивидуальным образом, я невольно задаю себе вопрос, не является ли это психическим последствием католицизма, таящимся под самой оболочкой сознания... В тех случаях, когда католицизм не существует в нас как вера, он существует как форма потребности».

А ведь пишущий это Бжозовский католиком не является, что подчеркивает при каждом удобном случае. Ставар отмечает, что Бжозовский до конца своих дней воспитывал дочь в духе атеизма.

Потому что католицизм как раз и не существует в Бжозовском в качестве веры. Он восхищается католицизмом как феноменом, плодом исторического развития, но не верит в него.

«Дневник», последнее свидетельство мысли Бжозовского, запечатлевает в сжатом виде уже не месяцев, а дней окончательное и все еще полное сомнений отношение Бжозовского к вере и к католицизму.

25 декабря 1910 года, то есть за четыре месяца до смерти, Бжозовский записывает:

«Бог всеприсутствует; каждый, самый мимолетный факт жизни определяет жизнь, остается в ней раз и навсегда, то есть оказывается запечатлен в том, что по отношению к личности, к мгновению является бытием, определенным смыслом бытия и не только временем, но источником самого времени и мощью человеческой жизни, поэтому мы, пока живы, должны постоянно осознавать эту истину». «Не подлежит ни малейшему сомнению, что если было бы можно — если бы сам католицизм не сопротивлялся подобному стиранию границ — трактовать католицизм как творение исключительно человеческого духа, пришлось бы признать, что он заключает в себе сумму самых глубоких, самых обширных и самых богатых истин, что он необорим».

«Ни одна философия не выдерживает сравнения с ним как философией».

«Но католицизм выступает не как философия, не как наука, пусть даже о сверхъестественном, но как сверхъестественный, сверхчеловеческий факт».

И тут же:

«Попугайное племя! Повторяемые до оскомины фразы о сверхчеловеке; да ведь здесь, перед вами — то, что твердит вам: вы суть нечто большее, чем то, что полагаете человеком и даже сверхчеловеком.

Он не предлагает нам ограничиться теорией, но создает сверхчеловеческие факты, ибо верующие Ньюмен, Паскаль, Бернар, сотни тысяч других живут и жили в области оправданного для них невозможного».

Так что же? Бжозовский все-таки католик? Да нет же! Запись от 12 января он начинает фразой:

«Отчаяние дается легче, чем покой...». И после очередной упоенной оценки католицизма добавляет: «И все же, все же, я не в силах скрыть, что вне этого всего существует лишь отчаяние. Я не католик, я ничего не знаю, обладаю определенной суммой антипатий и симпатий, но знаю, что все они удерживают меня в мире человеческом. И больше ничего. Ничего, кроме уверенности, что этого, как бы то ни было, недостаточно».

Жажда абсолюта, жажда Бога, который у Бжозовского неотрывен от тоски по Церкви, постоянно ощущается на страницах «Дневника». Уже в самом начале он замечает:

«Не сдаваться, не сдаваться, что нет передо мной ни перспективы, ни смысла, ни пользы, что моя деятельность кажется не более чем чудачеством, манией. Не сдаваться и стараться выйти из этого состояния. — Молись, молись, ежедневно хоть на миг вознося разум в ту область, где твои вопросы попадают в поле видимости».

В письме Остапу Ортвину от 26 января он защищается от упрека, что «погорел»...

«Вот увидите, я не погорел (правильно пишет Милош, что антиклерикализм являлся обязанностью имеющего левые убеждения), но, к сожалению, мое „суеверие о Боге“ неизлечимо».

Судя по письмам Бжозовского, он не только не был католиком, но даже вера его в Бога была скорее жаждой веры, тоской по вере. («Самое главное знать, что ты испытываешь жажду», — пишет Симона Вайль). У Бжозовского это также реакция на мелкость польской безрелигиозности.

«Безрелигиозность польской мысли способна довести до отчаяния. Тут словно бы дает о себе знать инстинктивно ощущаемая нехватка какой бы то ни было связи с долговременными, повсюду созревающими вопросами жизни рода человеческого. Мы не хотим мерить себя большой мерой».

Лишь две страницы «Дневника», от 2 февраля и от 5 апреля, в месяц его смерти, где Бжозовский признается в любви к Ньюмену, свидетельствуют о том, что он познал благодать веры. На последних страницах он пишет:

«I know, I know Ньюмена — не произвольный художественный оборот — впрочем, у Ньюмена нет такого рода произвольности, его творчество есть совершенное, точное выражение мысли. I know — это великоленная формулировка факта трудноуловимого, но неоспоримого, представляющего собой глубинную основу нашего существования. На дне нашей души есть свет. Она не теряет связи с неугасимым солнцем, и знает об этом, а также знает, что знает истину... Не забыть, помнить об этом I know, I know».

Любая вера в спасение человека по природе своей универсальна. Католицизм неизбежен.

Неизбежным, в самой идее человека укорененным фактом является Церковь. Человек без Церкви есть неразрешимая загадка. Жизнь человеческая — это насмешка и игрушка, если нет Церкви».

*

Эти выборочные страницы высказываний Бжозовского о религии и Церкви я хотел бы дополнить собственными воспоминаниями.

Бжозовский посвятил «Идеи» Валентине, урожденной Кольберг, и Эдмунду

Шалитам. В 1920 году, поздней осенью, я узнал, что супруги Шалиты живут в Кракове на улице Баштовой. В поисках любых следов Бжозовского я отправился к ним. Они приняли меня немного удивленно, может, поначалу недоверчиво. Насколько я помню, о Бжозовском я узнал от них немного. Был вечер, они не отпустили меня, пригласили выпить чаю. Мне запомнился скромный послевоенный быт. За длинным столом, кроме семьи Шалитов, сидела пожилая женщина с очень черными глазами и черными, с легкой проседью, волосами; она молчала на протяжении всего нашего разговора о Бжозовском, однако я видел, что она внимательно слушает. Внезапно женщина заговорила, в глазах у нее стояли слезы: «Были бы тогда деньги, Стась бы жил до сих пор» (я так понял, что она *присутствовала* при смерти Бжозовского и что она была его теткой). И тогда она рассказала о последних мгновениях его жизни, о которых я никогда ни до того, ни после ни от кого не слышал.

Бжозовский уже умирал. В Италии есть обычай допускать к умирающему детей, чтобы те молились рядом с ним. Бжозовский вдруг попросил привести священника. Это вызвало замешательство, ни одного священника Бжозовские не знали. Позвали патера из ближайшей церкви. Пришел старик итальянец, никогда не видевший Бжозовского и не знавший, кто он такой.

Детей вывели в соседнюю комнату, больной исповедовался и был помазан.

Когда старик священник вышел, он плакал и сказал детям, которые преклонили колени в соседней комнате, только одно: «Вернитесь в комнату умирающего, молитесь, там умирает святой».

Из этого визита к Шалитам мне запомнился только длинный стол; ужин, даже лица хозяев, которые так радушно меня приняли, изгладились в моей памяти, однако я вижу лицо в слезах, темные глаза этой старой женщины, ее голос, и слышу горечь в ее голосе, когда она говорила, что «Стась бы еще жил», и еще это лаконичное описание смерти Бжозовского, она ведь не могла это сочинить.

Может, кто-нибудь в Польше, может, дочь Станислава Бжозовского могла бы мне сказать, кем была эта женщина и действительно ли она, как я тогда понял, присутствовала при смерти Бжозовского.

«Культура», № 1/183-2/184, 1963

Перевод Ирины Адельгейм

ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

Воскресенье. 20. VI. (1965)

(Вдруг телефонный звонок: Анна Ахматова проездом в Париже, и хотела бы меня видеть. Тотчас отправляюсь в Париж, в гостиницу на площади Звезды, где она остановилась. — Запись сделана карандашом сразу после ухода. К ней я присоединил позже кое-что из забытых и неупомянутых вначале подробностей.)

Просторная комната гостиницы, Анна Андреевна в большом кресле, внушительная, полная, спокойная, чуть глуховатая. *Tres dame*.³⁰ Невольно вспоминаются идеализированные портреты русских цариц восемнадцатого века. Кроме неё в комнате спутница Ахматовой, её юная московская воспитанница — Каминская, полька по происхождению, и молодая англичанка из Лондона, входят и выходят давние друзья из эмиграции.

Год назад Анна Андреевна была в Таормине, где ей вручили международную премию «Этна-Таормина». Это был, кажется, первый выезд Ахматовой за границу с 1914 года! Об этой премии она говорит очень иронично, как о некой большевистской комбинации. На обратном пути она тогда хотела ехать через Париж, но Сурков сказал ей: «Вы не вернётесь так, как приехали». И теперь ее тоже отправили в Англию через Остенде, чтобы она снова не попала в Париж.

В Лондоне ей удалось упросить советское посольство — наконец получила разрешение, при условии, что пробудет в Париже не более двух дней. Но вчера, не получив соответствующих билетов для себя и спутницы, она отложила выезд на один день, чем вызвала резкие нарекания парижского посольства за нарушение субординации. На вокзале в Париже ее никто официально не встретил, был только Бушен, кузен ее мужа (знаю его с тридцатых годов и именно ему обязан тем, что Ахматова отыскала меня).

На какое-то мгновение мы остались с ней наедине, и я сразу спросил о сыне (она говорила мне о нём в Ташкенте в 1942 году, о его аресте и вывозе из Ленинграда в неизвестном направлении еще до войны). Сказала, что сын «провел в лагерях около 14 лет, выпускали, снова сажали, «брали Берлин», теперь он на свободе, профессор, написал работу о гуннах, он в прекрасной физической форме, но что-то в голове у него помутилось в лагере. После возвращения он меня возненавидел, не хочет со мной встречаться, уже три года его не видела».

³⁰ Дама во всех отношениях.

— Ну что ж—добавляет Анна Ахматова, — так бывает, что самый близкий человек становится чужим.

Второй мой вопрос о поэте Бродском. Она его знает, высоко ценит. Его выпустили из ссылки под Архангельском на три дня (то ли на Пасху, то ли на Рождество?). «Самые высокие медицинские авторитеты, к которым мы его направили, оценили состояние его здоровья как критическое — шизофрения и т.д., он вернулся в ссылку со всевозможными свидетельствами врачей, но тамошний лекарь счел его абсолютно здоровым».

Не понимаю, в чем дело, ведь никого не арестовывают, и вдруг Бродский! — И Ахматова продолжает: — Сталин довел страну до крайнего разложения, и жить сейчас всё ещё трудно, но выросло новое замечательное поколение — *послесталинское*. Она говорит это с теплотой в голосе. И вообще говорит спокойно, очень скупое, без каких-либо преувеличений, и это придает особый вес каждому ее слову.

О «Культуре» она слышала от профессора Якобсона. Знает также, что я писал о ней, из упоминания об этом в какой-то библиографии, но самого текста она, разумеется, не читала.

Заговариваю о Терце и Аржаке (Синявском и Даниэле). Реагирует крайне осторожно: «Не думаю, что «Фантастические рассказы» Терца могли быть написаны в России». И умолкает. (В самом деле она так думает или, может быть, все знает и поэтому так говорит?)

Бушену и мне она прочла в своей манере, нараспев стихотворение, написанное в Лондоне. Листок с этим стихотворением, вынутый из записанной книжки с лондонскими адресами, тут же рвет в клочки, говоря при этом: «Уже знаю его наизусть». Записную книжку она тоже намерена уничтожить. Когда Бушен удивляется, почему же она не может привезти свои собственные заметки, Ахматова бросает мне: «Вот видите, сорок лет не был в России, и даже он не помнит! Что говорить о французах!»

Знакомые из эмиграции, друзья давних лет, поклонники ее поэзии приходят и уходят. Она показывает нам статью о себе в американской эмигрантской газете — полную энтузиазма. Говорит, что это может ей сильно повредить.

— Чем это может Вам повредить? — спрашивает кто-то из присутствующих.

— Ну, хотя бы тем, что не появится книга моих стихов, и мне опять не позволят выехать. (Предполагается ее поездка в Америку.)

Разговор продолжается. Анна Андреевна вносит кое-какие коррективы в свою биографию, еще до четырнадцатого года (парижский период, ее дружба с Модильяни и т.п.) Та эпоха видится ей в безмерной дали...

Якобы Маяковский ревновал к Мандельштаму и еще к кому-то, и от этого такое нагромождение вранья о нем в книге, которая появилась в Америке.

Якобы в Париже то ли она ревновала Гумилева, то ли он ее. И добавила с юмором: «Ну что же, мы все в те времена кувыркались, а теперь о нас тезисы пишут!»

И появляется то же ощущение, что возникло, кажется, у Марии Домбровской, будто она уже превратилась в монумент, и все ее заботы лишь о полноте биографии. Ну, если не монумент, то бдительный страж своего доброго имени и хранитель точных фактов жизнеописания А.Ахматовой.

Написано позднее.³¹

Такова была моя встреча с Ахматовой, первая после двадцати трех лет и последняя. Анна Андреевна умерла в марте 1966 года, и я глубоко сожалею, что моя заметка, поспешно нацарапанная карандашом в тетрадке, вышла такой сухой и лаконичной. Я писал о ней в «Нечеловеческой земле», о нашей встрече в 1942 году, умолчав, разумеется, об всем, что ей могло тогда повредить, опустив ту нашу ночную прогулку после вечера у Алексея Толстого, когда я проводил ее до дома. Какова была с той поры ее жизнь? Многие остаются для меня таинственным: стихи писались тогда не в стол — ближайшие друзья заучивали их наизусть. Ташкент, Алма-Ата, и внезапно неожиданная фраза Сталина: «Анна Ахматова — великий поэт», — которая уже в период войны в мгновение ока меняет ее судьбу: чествование в Москве, возвращение в Ленинград, а после войны ждановщина, новые преследования, затем послесталинский период, когда тиски террора ослабевают, растет ее слава, ее легенда, и строки новых стихов доходят до нас из России и Америки. Например эти два, которые не покидают меня с тех пор, как впервые прочитал ее «Родную землю» (1961):

*И в мире нет людей безжалостней,
Надменнее и проще нас...*

и «Последняя роза» (1962):

*Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать и умирать и жить...*

и те, что изданы в 1963 году в Мюнхене в томике «Реквием» (...)

В кресле парижского отеля я увидел не ту трагическую и все еще прекрасную поэтессу, которую встретил в Ташкенте, а почтенную даму, как бы уже успокоившуюся, умиротворенную, которая издалека и свысока смотрит на все прошлое и на дело своей жизни. Великую поэтессу в ореоле тогдашней, мировой уже славы, окруженную преданными ей молодыми женщинами и старыми друзьями из эмиграции.

*

Лишь после ее смерти я получил из Лондона письмо — меня спрашивали, знакомо ли мне стихотворение, написанное поэтессой в 1959 году, которое она якобы посвятила мне. Я никогда об этом стихотворении не слышал. Мне пояснили, что Ахматова зачастую поступила таким образом, не сообщила, кому посвящено стихотворение — пусть сам догадается. *Но я этого стихотворения не знал.* Возможно, тогда в парижском отеле она ждала, что я о нем вспомню?... Мне прислали его лишь

31 В 1967 г.

в 1967 г. Это стихотворение появилось в двух вариантах. Ниже я процитирую фрагмент из него по тому письму, которое некогда получил. Вот это письмо:

«Посылаю Вам фотокопию стихотворения из цикла «Ташкентские страницы» из книги «Без времени», Москва-Ленинград, 1965. Первый разговор у меня был с одной приятельницей Ахматовой, которая обратила мое внимание на разницу двух вариантов и сказала, что Ахматова не посмела в первом варианте, который был в свое время напечатан, поместить слово «Варшава» (московское издание 1961г.), но что теперь это вполне возможно. Моя собеседница спросила, не знаю ли я, о ком написала поэтесса. Я ответила ей, что не знаю. А она мне на это: «А я знаю, но не скажу, скажу только, что слово «Варшава» даст вам ключ к ответу».

Через пару дней госпожа Х. (тоже близкий Ахматовой человек) сказала мне: «Не понимаю, почему Вам не захотели сообщить, о ком говорится в этом стихотворении. Был один польский художник, который прибыл в Ташкент во время войны и которого встретила там Анна Ахматова». Что до меня (пишет моя корреспондентка), то я убеждена, что единственным поляком, которого она тогда встречала, были Вы».

Это о письме. У меня самого нет сомнений, что стихотворение 1959 года — это поэтическое воспоминание семнадцатилетней давности о той ночи, когда я провожал ее от Алексея Толстого, о вечере, который я описал в книге, где я читал *a livre ouvert*³² Норвида и стихи Балинского и Слонимского, которые дошли до нас из Лондона. Помню слезы на глазах Ахматовой, когда я неуклюже пытался перевести «Варшавскую колядку»:

*Рождаешь сына ты, о мать,
В Варшаве среди руин.
Не лучше ль сразу же отдать,
Чтоб был распят твой сын?...*

Ахматова обещала тогда это стихотворение перевести. Затем она читала наизусть свою «Ленинградскую поэму». К этому эпизоду я не возвращаюсь, я описал его в книге. Помню, как провожал ее поздно ночью. Сиял месяц.

Дневная жара сменилась прохладой. Оба мы были пьяны стихами. Анна Андреевна не в самой учтивой форме отослала кого-то, кто хотел ее провожать. Тогда она и призналась мне, что смертельно боится за сына. «Я целовала сапоги всем знатным большевикам, чтобы мне сказали, жив он или мертв—я ничего не знала». И внезапно эта женщина, такая горделивая в гостиной Толстого, этого сталинского сановника, такая отстраненная от нас всех, стала мне по-человечески близка, оказалась другой женщиной и абсолютно трагическим человеком. Тогда она сказала мне: «Сама не знаю, что это, ведь мы почти незнакомы, но Вы мне ближе всех людей вокруг». Она могла спокойно говорить со мной, чувствовала иную атмосферу, большую свободу, отсутствие страха, который душил тогда в России вздох у людей, буквально у всех.

32 Без подготовки.

Как благодарен я ей за это стихотворение, за то, что она захотела увидеть меня еще раз в Париже, и как не могу простить себе того, что не удалось мне с ней поговорить по душам, выслушать ее, как бывало однажды, не думал я, что то краткое свидание на людях станет последней встречей, и я больше никогда ее не увижу и уже не скажу ей, чем стали для меня некоторые ее стихи и та ташкентская встреча.

из цикла «ТАШКЕНТСКИЕ СТРАНИЦЫ»

*В ту ночь мы сошли друг от друга сума,
Светила нам только зловеющая тьма,
Свое бормотали арыки,
И Азией пахли гвоздики.*

*И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь думную песнь и полуночный зной,
Одни под созвездием змея.
Взглянуть друг на друга не смея.*

*То мог быть Стамбул или даже Багдад,
Но, увы, не Варшава, не Ленинград,
И горькое это несходство
Душило, как воздух сиротства.*

*И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незримая била рука,
И звуки, как тайные знаки,
Пред нами кружились во мраке.*

*Мы были с тобою в таинственной мгле.
Как будто бы шли по ничейной земле.
Но месяц алмазной фелукой
Вдруг выплыл над встречей-разлукой...*

*И если вернется та ночь и к тебе
В твоей для меня непонятной судьбе.
Ты знай, что приснилась кому-то
Священная эта минута.*

В московском издании 1961 года две первых строчки третьей строфы выглядели так:

*То мог быть Каир или далее Багдад,
Но только не призрачный мой Ленинград...*

«Культура», 1965, № 4
Перевод Святослава Святского

ПИСЬМО ЛЕНИНА?

Необходимо довольно подробно объяснить, как и почему публикуемое ниже письмо оказалось на страницах «Культуры».

Оно было впервые напечатано 21 июля 1921 г. в Польше, в русской эмигрантской газете «Свобода»; на письме обозначена дата (июнь 1921, Москва), вместо подписи буква N. Не будучи советологом, могу лишь привести не слишком объемную, но для меня абсолютно убедительную информацию, что это письмо, перехваченное по дороге, якобы является письмом Ленина. Вот это письмо³³.

Москва, июнь 1921 года

Я устал. Я чувствую это с каждым днем все более и более, и меня невольно тянет отдохнуть за своими книгами и проверить своими объективными наблюдениями те выводы, которым я отдал всю свою жизнь. Нервы уже не те. Все больше и больше начинает нервировать мелочность окружающих, их мещанство, которое растлевает прочный организм партии. Государственная работа в такой форме, в которой она происходит сейчас у нас, положительно невозможна. Наша молодая бюрократия восприняла полностью все недостатки своих предшественников, и, по наивности, еще более углубила ту рознь, какая существовала ранее между правителями и управляемыми.

Наша ставка на коллективный инстинкт, который должен сдерживать членов партии, оказалась битой. Наши надежды на тот же коллективный инстинкт и классовое самосознание рабочих и крестьян также потерпели неудачу. Я вспоминаю теперь Вашу прощальную фразу, сказанную мне в момент моего отъезда в Россию в 17 году. Вы мне сказали, чтобы я не забывал того, что я совершенно отвык и разучился понимать дух русского рабочего и крестьянина, что годы эмиграции оторвали меня от возможности непосредственно наблюдать русскую общественность, и чтобы я был осторожен.

Нас всех захлестнула власть, захлестнул успех. Я сам увлекся возможностью поверить свои выводы на практике, глубоко веря в стойкость своей партии, в ее жизнеспособность. Бросив толпе широкие перспективы грядущих социальных реформ я старался разбудить у интеллигентного пролетариата, у рабочих и крестьян, самодеятельность, которая бы, проводя на месте директивы центра, дала бы фундамент

33 Письмо печатается с сохранением некоторых особенностей пунктуации.

грядущего социалистического государства, могущего служить образцом народам всего мира. Скажу Вам, что три года я колебался, три года я не решился сознать, что мы были неправы, что я выбрал ненадлежащие методы, но сейчас, подводя итоги всей нашей деятельности, я должен сознаться, что я был неправ, что переоценил силы партии, переоценил русского рабочего и крестьянина.

Скажу Вам кратко, что и русский рабочий, и русский крестьянин предал свои интересы, предал партию совершенно бессознательно в силу своей мягкотелости и рабской психологии, которая пересилила революц. подъем и остановила развитие рев. психологии на полпути. Наивность, детская культура, детская жестокость, полное непонимание и неумение понять необходимость работать на завтра, косность и тупость к восприятию новых идей, вот та плотина, перевалить которую оказалось не под силу нам, несмотря на все те действительно героические усилия, которые напрягала партия все эти годы. Если мы держимся, то держимся исключительно усилиями партии, которая тратит все свои жизненные силы исключительно на то, чтобы удержать власть и таким образом хоть немного продлить возможность перевоспитания социального мировоззрения и тем самым подготовить этап для дальнейшего развития и углубления социальной революции.

Но, я чувствую, что силы партии с каждым днем истощаются все больше и больше, что партию начинают разъедать внутренние дрязги и мелкое честолюбие отдельных лиц, которые ставят частные интересы выше интересов общих. Это борьба на массе всевозможных фронтов, окончательно нас доконает. Уже давно я видел неизбежность компромисса, неизбежность уступок с нашей стороны, которые бы могли влить в партию новые силы, подкрепить хоть немного изнемогающую кучку действительно беззаветно преданных делу работников. Без этого у нас не будет никакой возможности не только удержаться, но и просуществовать. Ставка на революционный милитаризм, которую ведут наши «Наполеоны», по моему мнению, будет бита и явится последним усилием нашей партии, которая погибнет, истощив весь запас своих жизненных сил. Я писал Красину о необходимости частным путем вступить в переговоры с эмигрантскими социалистическими кругами о возможности какого-либо компромисса. С такой же точной просьбой я обращаюсь к Вам как к своему старому другу и, кроме того, человеку абсолютно беспартийному. Вам легче будет установить контакт с нашей эмиграцией и легче будет договориться с ее руководителями. Не скрою, что я бы хотел получить от Вас какие-либо сведения в самое ближайшее время, так как время не терпит и лучше договориться сегодня, а не через полгода, когда, может быть, уже будет поздно. Жду Ваших писем в самом ближайшем будущем. Читая их, я отдыхаю, вспоминая Вас и наши цюрихские споры. От всего сердца приветствую Вас.

N

«Свобода», 21 июля 1921 г.

Мне не хотелось бы упустить ни одной подробности из тех, которые сохранились в памяти; попробую ее освежить, описав некоторые человеческие связи, которые

заставили меня, молодого, не вовлеченного активно в политику студента Академии художеств, заинтересоваться этим письмом и всем, что непосредственно с ним связано.

*

Зимой 1918-1919 годов я познакомился в Петрограде с Дмитрием Мережковским и его женой, знаменитой поэтессой Зинаидой Гippiус. Бывал у них, на Сергеевской, почти каждый день. Не было угля, не было хлеба, но споры о революции, о России, о Боге, о Достоевском и Ницше бывали горячими и страстными. У Мережковских я познакомился также с Дмитрием Философовым, который уже ряд лет с ними жил и тесно сотруidничал.

Той же зимой я вернулся в Польшу, годом позже покинули Россию Мережковские и Философов, нелегально перейдя советско-польскую границу. Я был первым, кто в Варшаве получил об этом известие и принял их. Присутствие в Польше Мережковского, всемирно известного писателя, который только что порвал с советской Россией, его лекции в Варшаве, подчеркнуто пропольские, были своего рода сенсацией. Через Струга мы организовали встречу Мережковского с Пилсудским. Тогда и зародилась идея широкого польско-российского сотрудничества, а точнее, совместных политических действий Польши Пилсудского и так называемой Третьей России, т.е. группы левой революционной русской интеллигенции, которая полностью порывала с фатальной национальной политикой «единой и неделимой» царской России и была готова бороться против коммунизма в России, диктатуры пролетариата, удушения всех свобод и все более свирепого террора. Речь шла о борьбе во имя нового, тоже революционного, будущего России и новых польско-русских отношений. Тогда же была создана газета «Свобода»; редактором стал Дмитрий Философов; в редакционную коллегию входили, в частности, Мережковский, Зинаида Гippiус, российский либерал Родичев, который прибыл с Запада в Варшаву на «премьеру» газеты. Центральной фигурой всего дела был, однако, Борис Савинков, который тоже тогда приехал в Варшаву, чтобы встретиться с идейно близкими ему давними друзьями — Мережковскими и Философовым. Савинков, один из лидеров партии эсеров, террорист царских времен, министр Временного правительства в 1917 г., пользовался в то время у русских революционных «левых» славой самого грозного врага Советов. Савинков знал Пилсудского еще с довоенных времен (не знаю, лично ли или только через партийные и революционные контакты); Дмитрий Философов в то время в Польше был человеком никому неизвестным.

Мережковский, обладавший богатой фантазией, воображением и энтузиазмом, но одновременно политически наивный, уже видел Польшу, Польшу Мицкевича и Красинского, которая после победоносной войны с Советами «установит крест на стенах московского Кремля»! Рижский мир, признание де-юре Советской России стали для Мережковских горьким разочарованием; они демонстративно покинули «братскую» Польшу и поселились в Париже. В одном письме из Парижа Мережковский написал: «Даже если бы от этого должна была зависеть наша и ваша свобода, я этого паука (Рижский мир) проглотить не могу!»

Дмитрий Философов, в отличие от Мережковских придерживавшийся избранной

им политической линии, основатель и бессменный редактор «Свободы», оставался в Польше до своей смерти (1940), в первые годы как представитель Савинкова и связной между ним и Пилсудским.

Савинков и Философов были, пожалуй, единственными русскими, которых Пилсудский несколько раз принимал в Бельведере, ведя с ними многочасовые беседы. «Мы пили ночью крепкий чай, сквозь окна видели старые деревья, кругом была полная тишина, как в старинном имении», — рассказывал мне Философов. Савинков восхищался личностью Пилсудского. Философов до самой смерти говорил о Пилсудском как о гениальном человеке (хотя не думаю, что считал правильным каждый его политический шаг) и сохранил более чем глубокую признательность маршалу за лояльное отношение к тем русским эмигрантам, которым тот доверял и которых какое-то время привлекал к своей восточной политике. После перехода Савинкова в Россию (1924), ареста его в Москве и смерти на Лубянке (убийства или самоубийства?), Философов стал в межвоенный период наиболее крупным и наиболее тесно связанным с Польшей представителем русской политической эмиграции.

Случилось так, что уже в эти первые годы независимой Польши я и моя сестра Мария Чапская находились в постоянном контакте с Философовым. Он сыграл большую роль в нашей личной жизни, открывал нам горизонты мысли, руководил нами. Наши отношения, которые не прерывались до самой его смерти, не имели ничего общего с его политической работой, с полностью исчерпывавшим его силы трудом по редактированию газеты, которая неоднократно конфисковывалась польской цензурой и подвергалась резким атакам правой и левой русской эмиграции и которая сумела выжить в невероятно трудных, все более, как казалось, безнадежных материальных условиях. Отношения с нами были для Философова в определенном смысле, пожалуй, одной из возможных для него в то время отдушин. Он не просто отдавался своей работе — она его *пожирила*.

В России Философов уже перед Первой мировой войной был известным эссеистом, основателем, вместе с Дягилевым, «Мира искусства», затем Религиозно-философских собраний (вместе с Мережковскими, Розановым, Минским и Карташовым); дружил с Блоком, Розановым, Шестовым, Белым, Ремизовым. Он был человеком исключительным — не только по интеллекту, но и по масштабу личности. Последний, польский период жизни Философова был наиболее важным и действительно героическим. Он писал для «Свободы» прекрасные статьи, разительные памфлеты, фельетоны на различные темы в области культуры и искусства, вел политическую полемику. Случалось, в день писал по три статьи!

А сколько было глубоких, далеких от всякой банальности статей о Польше. В 1939 г. был подготовлен к изданию сборник этих статей на польском языке (в переводах Марии Домбровской, Станислава Стемповского, Марии Чапской и др.) — материалы этой книги *погибли* в вихре войны.

Несколько сотен писем Философова, которыми располагали моя сестра и я и которые мы берегли как зеницу ока, *погибли* все. Приходится предположить, что и подшивки «Свободы» и «За свободу» (так называлась газета после одной из конфискации,

затем называлась «Меч») тоже погибли. Несмотря на долгие старательные поиски, редактор «Культуры» до сих пор на их след не попал³⁴. Я глубоко уверен, что утрата политико-литературного наследия Философова тех лет является невосполнимой для культуры, а прежде всего для историков и исследователей русской эмигрантской литературы того времени и до сих пор не изученных и *почти забытых польско-российских отношений этого периода*.

Именно в эти первые годы независимости, часто приезжая в Варшаву из Кракова, где я жил с 1921 г., я почти ежедневно видел Философова, слышал от него рассказы о его с Савинковым посещениях (иногда совсем недавних) Бельведера. Он также говорил мне, нечасто и кратко, о своих трудностях и даже о подпольной политической работе, о тяжелых конфликтах... Почему? Наверное, он доверял мне (и это доверие я никогда не обманул), а может быть, и потому, что я жил вне круга его деятельности. Газету «Свобода» я всегда читал внимательно.

*

В 1921 году я увидел в «Свободе» приведенное выше неподписанное письмо, которое печаталось как письмо коммуниста из Москвы. Это письмо настолько меня поразило, что я спросил Философова, кто может быть его автором. И Философов (помню как сейчас) ответил: «Представь себе, что это письмо Ленина, оно попало к нам, перехваченное по дороге!» Я не спрашивал, с какой тактической целью это письмо напечатано и кто и как его перехватил; это было время, когда множество различных агентов, полуагентов и двойных агентов различных разведок тайно и полуоткрыто курсировало между большевицкой Россией и западным миром. Как это письмо попало в «Свободу», не знаю — единственное, что помню определенно, это слова Философова: «Представь себе, что это письмо написано самим Лениным!» Эти слова, судя по самой интонации, которую я словно до сих пор слышу, были произнесены не как предположение, но с полной уверенностью. Причем я никогда не слышал из его уст легкомысленной передачи какой-либо информации, не говоря уже о фактах и событиях, связанных с его политической работой. Он взвешивал каждое слово, исключая всякую двусмысленность. Содержание этого письма я не раз вспоминал позже. А первое предложение о желании вернуться к научной работе или фразу о «мягкотелости» русского рабочего и крестьянина запомнил почти дословно. Но с течением лет уже не был уверен, не произошло ли невольной аберрации памяти.

*

Жан Лалуа (Laloy), французский дипломат и многолетний руководитель восточного отдела Quay d'Orsay³⁵, в конце прошлого года издал книгу «Le socialisme de Lénine» (Desclée de Brouwer, 1967). В этой книге, насыщенной текстами самого Ленина, Лалуа со страстью политического историка и добросовестного психолога пробует

34 Довольно полный комплект газеты, в том числе номер от 21 июня 1921 г., по которому и приводится письмо, хранится в Отделе русского зарубежья (бывшем «спецхране») Российской государственной библиотеки.

35 Лалуа в 1944 году был переводчиком де Голля во время его встреч в Москве со Сталиным.

пробиться к живому Ленину. Меня особенно заинтересовали тексты, в которых можно ощутить сомнения Ленина, касающиеся дальнейшей тактики, сразу после польской войны и в период нэповской «передышки», — следы его разочарований и раздумий, не должна ли быть изменена линия большевицкой партии и была ли эта линия верной. Я написал автору после прочтения книги и упомянул о приписываемом Ленину письме 1921 года, цитируя его по памяти. Лалуа ответил, что очень бы хотел это письмо прочесть. Я написал, что редактор «Культуры» много лет безрезультатно разыскивает подшивки «Свободы» — газеты, в которой напечатано письмо. Весь комплект подшивок «Свободы» из большой русской библиотеки в Париже был вывезен в Германию за несколько недель до изгнания немцев — и там пропал *пропал*.

Но вот недавно друг нашего журнала обнаружил в одной американской библиотеке несколько номеров «Свободы», в том числе и с упомянутым письмом, и прислал нам фотокопию!

*

Некоторые тексты и цитаты в книге Лалуа тесно связаны с проблематикой письма.

Ленин пишет в январе 1921 г.: «Надо иметь мужество смотреть прямо в лицо горькой истине. Партия больна. Партию треплет лихорадка»³⁶.

В июле 1921 г. Ленин начинает маневр поворота к новой экономической политике — нэпу. Он решительно настроен на этот маневр, а для этого необходимо безусловно сохранить целостность и единство партии, ибо только партия с железной дисциплиной сможет, когда вновь возникнут соответствующие условия, *снова принять курс на социализм*.

В мае того же года Ленин пишет: «Мы окружены всемирной буржуазией, караулящей каждую минуту колебания, чтобы вернуть „своих“, чтобы восстановить помещиков и буржуазию. *Мы будем держать меньшевиков и эсэров, все равно как открытых, так и перекрашенных в „беспартийных“, в тюрьме*»³⁷ (разрядка моя — Ю.Ч.).

Там же Ленин уточняет, что задача партии — «учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание западничества варварской Русью, *не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства*»³⁸ (разрядка моя — Ю.Ч.).

Письмо из «Свободы» написано в июне того же года! Оно отличается по тону от приведенных выше цитат из написанной в мае статьи. Как так? В мае Ленин хочет держать в тюрьме социалистов и эсэров, а в июне хочет вести переговоры с заграничными

36 Ленин. Кризис партии. 19 января 1921. Соч., т.42, с.34. (Тексты Ленина приведены Чапским в переводе с французского; тексты и источники уточнены. — Пер.)

37 Ленин. О продовольственном налоге. Май 1921. Соч., т.43, с.240-242.

38 То же, с.211.

социалистами? Но это не первое и не последнее противоречие в текстах Ленина. Следует помнить, что опубликованное в «Свободе» письмо — это письмо *частное*, даже тайное, к беспартийному другу дореволюционных времен. Это Ленин интимный, пишущий более искренне, не скрывающий колебаний, без следов не только демагогии или пропаганды его полемических, а часто хищных статей и выступлений, но и даже без стремления навязать свою концепцию, — Ленин, не известный широкому кругу³⁹.

Лалуа, сопоставляя даты и цитаты, пишет: «С момента, когда необходимо было снова привести в движение частную инициативу посредством возврата к индивидуальной заинтересованности прибылью не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности и торговле, почему было бы не смягчить железную дисциплину, ввести местное самоуправление, не сотрудничать с небольшевицкими социалистическими партиями или хотя бы с их деятелями?»⁴⁰ И приводит при этом текст Ленина, написанный пятью месяцами позже, в ноябре того же года, который кажется попыткой ответить на вопросы Лалуа и продолжает мысли, содержащиеся в письме из «Свободы»:

«Спрашивается: если, испытав революционные приемы, вы признали их неудачу и перешли к реформистским, то не доказывает ли это, что вы вообще революцию объявляете ошибкой? Не доказывает ли это, что не надо было вообще с революции начинать, а надо было начать с реформ и ограничиться реформами?»

«Ответ менее ясен, чем вопрос, — пишет далее Лалуа. — Не надо, говорит Ленин, привязываться к Революции „с большой буквы“. Революция может использовать реформистские средства, лишь бы в результате „выйти из войны“ (Брестский мир) и создать „диктатуру пролетариата“ (разгон Учредительного собрания). Экономический прогресс придет, если „коммунисты“ переделаются сейчас в „торговцев“»⁴¹.

*

Я привел несколько текстов Ленина из книги Лалуа, потому что, как мне кажется, они характеризуют мысли и настроения Ленина в 1921 г., когда и было написано опубликованное в «Свободе» письмо. Подлинное ли это письмо Ленина или апокриф, пусть решают «искушенные в Писании».

«Культура», 1968, № 6-7

Перевод Натальи Горбаневской

39 Наверное, в закрытых фондах в Москве, к которым имеют доступ только редкие коммунистические советологи, есть и больше такого рода или близких по тону писем и фрагментов. По одной из версий, разоблачение Синявского произошло потому, что в романе «Любимов» используется несколько предположений из Ленина — из тех закрытых фондов, к которым Синявский какое-то время имел доступ.

40 Лалуа, с.234.

41 Лалуа, с.236-237.

О НЕМЦАХ

(Приложение к лондонскому изданию книги

«На бесчеловечной земле», 1969)

Когда я заново переживал ту историю, которую описал в послесловии к книге, у меня перед глазами снова встал германский мир таким, каким я его вижу: германский мир в глазах поляка.

Не один мой читатель упрекнет меня в том, что я только расширяю пропасть, разделяющую нас и немцев, напоминая о прошлом, вместо того чтобы вычеркнуть его из памяти. Но, когда я писал о прошлом, я хотел передать что-то большее, чем правда фактов, — речь для меня шла об исповедании веры в то, что, не затемняя и не маскируя прошлое, но переживая эти времена заново, уже из нынешнего отдаления, мы, может быть, сумеем избавиться от их мрака.

Политика сегодняшнего правительства в Польше, демагогически и прямолинейно антинемецкая, — это одно; высказывания о Германии эмигрантских политиков и журналистов нередко, хотя вовсе не всегда, идут по той же линии — со страху, чтобы в глазах людей на родине не выглядеть менее антинемецкими, чем их страна. Где путь к попыткам взаимопонимания? Что делать тем, кто, как пишуший эти слова, не принимая участия ни в какой политической деятельности, не может оказать ни малейшего непосредственного влияния, но желает изменить атмосферу польско-немецких отношений?

Они могут больше, чем это кажется, благодаря внимательному взгляду, воле к nelaкированной истине, а затем — диалогу доброй воли между человеком и человеком. Людей, жаждущих такого бескорыстного диалога, возможно, больше, чем мы думаем; с одной стороны, многие из них этот диалог уже ведут, и со временем это может изменить и политическую атмосферу. Если же говорить обо мне, то я по отношению к немцам homo quidam: о наших польско-немецких взаимоотношениях и о самой Германии я знаю не больше, чем любой рядовой поляк. Но потому-то мои мысли и чувства могут иметь значение, ибо их истоки — исходная точка, точка восприятия — типичны (в известном смысле) для поляка. Поэтому я хочу вернуться к себе и не в статистиках, цифрах, томах документации (на это я не способен), но в собственной совести, в ограниченном, но собственном опыте искать путей выхода.

«Как свет свят, немец поляку не брат» — эту поговорку в Польше знает каждый.

Не захват Москвы поляками в XVII веке, но Грюнвальд, удар, нанесенный ордену крестоносцев, — для каждого поляка центральная дата его истории. Не опричники Ивана Грозного или даже не армии Суворова, но крестоносцы по-прежнему остаются для нас воплощением готовности уничтожить польскую нацию.

Прусская мощь — продолжение мощи ордена. А дальше?

«Бейте поляков так, чтобы им жить расхотелось; я вполне сочувствую их положению, но если мы хотим сами существовать, то не можем поступать иначе, как смести их с лица земли; волк не виноват, что Бог сотворил его таким, каков он есть, а ведь мы убиваем волков повсюду, где только можем», — так пишет пруссак Бисмарк, великий канцлер, своей сестре в 1861 г., а использованное им слово «ausrotten» (смести с лица земли) знают даже те поляки, что не знают ни слова по-немецки.

А кто у нас — пожалуй, почти никто — знает завещание Гогенцоллернов, дружественное Польше, или завещание великого электора 1667 г., рекомендующего добрососедские отношения в Речью Посполитой: «Ибо от их поведения и содержания зависит любое устойчивое благополучие страны», — или Фридриха-Вильгельма 1721 г., то есть уже в век разделов: «Хорошо жить в доброй дружбе с Речью Посполитой Польской и иметь полное доверие»⁴².

Аргументация некоторых историков (в частности Бохенского), согласно которой не может быть и речи об исторической и географической неохотности и польско-немецких антагонизмов, более чем когда-либо чужда польскому сознанию. Сегодня, после Гитлера и Гимmlера, старое клише «как свет свят...» для многих поляков, пожалуй, больше чем прежде выглядит аксиомой.

Свободен ли я от такого клише? Если еще сегодня, двадцать лет спустя после окончания войны, меня самого поражает инстинктивная враждебность моей реакции — у французов в основном уже не встречающейся — на слишком громкие, слишком свободные разговоры немецких туристов на улице, в вагоне или даже в Лувре, то не потому ли, что они сразу пробуждают у меня жуткие воспоминания? Как из себя самого вырвать чувство, которое до боли, до мозга костей оскорбляет меня, когда я ощущаю хоть тень такого инстинкта у кого-либо из поляков? Несколько раз я это ощущал у евреев. А кто же, как не я, должен был бы скорее, чем другие, избавиться от таких инстинктивных эмоций?

Моя мать была австриячка, родившаяся в Судетах. Она первая научила меня любить Польшу. В возрасте 12 лет на уроке истории она сказала, что хочет выйти замуж за поляка, потому что это несчастный народ, и так случилось, что за поляка она и вышла. На дне воспоминаний детства вижу колеблющийся отблеск свечи на клавишах рояля, когда при матери и вместе с ней мы пели «Боже, Ты, что Польшу...», а иногда и «Где домов мой» [«Где моя родина»], потому что, родившись в Чехии, мать

42 Вышеприведенные цитаты я заимствовал из книги Адольфа Бохенского «Между Германией и Россией» (Варшава, «Политика», 1937). [У Чапского цитаты в тексте приведены по-немецки, а польский перевод дан в сносках. — *Пер.*]

чувствовала себя наполовину чешкой. Благодаря ней Шуберт, и Бетховен, и Шуман стали для нас наряду с Шопеном первым музыкальным открытием.

Немецкий язык я слышал с детства — нас учила ему дома любимая нами старенькая учительница, австриячка из Линца, которая уже тогда, вопреки взглядам матери, утверждала, что Австрия и Германия — одно, потому что наша добрая учительница была страстной приверженкой *Alldeutsch*.

Мне было семь лет, когда мать умерла. Что же дала она мне из своих австрийских традиций, кроме света своей любви, ревностного традиционного католичества и укоренившейся в нас веры, что она была святой и что это нас к чему-то обязывает?

Моя бабка со стороны отца была родом из немецкого дворянства, много веков назад осевшего в Латвии. Будучи из семьи, которая дала России несколько поколений выдающихся дипломатов, она была лишена национального сознания. Сама она вышла замуж за поляка, одна ее сестра — за финна, другая — за русского. Она много путешествовала по Европе, а ребенком еще ездила каретой из Петербурга в Неаполь. До самой смерти испытывая влияние своей любимой и крайне благочестивой воспитательницы-англичанки, бабушка была глубоко верующей протестанткой.

Всегда с какой-нибудь работой, в кружевном чепце на снежно-белых волосах, любимая внуками, она была типичной представительницей культуры определенной сферы в Европе XIX века, где национальные различия едва существовали и выглядели несущественными, сферы, к которой принадлежала писательница, написавшая знаменитую в то время книги «Рассказ одной сестры»⁴³. К тому же слою относились те читатели Стендаля, к которым она обращалась, когда писал «*ami lecteur*».

Знал ли я женщину, менее склонную фанатически зауживать, более тонкую и до самой смерти в высшей степени живо интересовавшуюся как событиями всемирного размаха, так и старинными монетами, которые коллекционировал ее муж, гнездами птиц в своем парке или молодым прирученным медвежонком, который прогуливался по этому парку. «*Je suis cosmopolite*», — говаривала она, но по крови была немкой. Сколько же причин, чтобы германский мир я воспринимал через фильтр этих, а не иных воспоминаний.

Моя личная биография, ученье в Петербурге, русские дружки, русская литература, Толстой и его влияние, потом Достоевский, пережитая там русская революция, участие в войне 1920 г. против большевицкого нашествия, а в последнюю войну лагеря в России, участие в создававшейся там заново польской армии — все это связало мою судьбу, в злом и добром, с Россией. Может быть, потому я воспринимаю российский мир не только со стороны польских обид, но в целой его сложной, из крайностей сотканной, конкретной действительности. Поэтому всякие тотальные о ней суждения кажутся мне такими неверными и даже вредными.

43 Эта книга, автором которой была Полина Кравен, урожденная Ла Ферроньер, как мало какая другая передает *ауру* этого интернационала.

Германский же мир был для меня по сравнению с российским почти абстракцией, бледной олеографией.

В 1934 году я провел лето на дальних восточных окраинах тогдашней Польши, на Гуцульщине, в горах. Во время одного из далеких походов я наткнулся на остатки окопов первой мировой войны и на маленькое, среди деревьев, вдали от всякого жилья, немецкое кладбище. Немногочисленные могилы были ухожены, а над входом высечена надпись: *Sie sind gefallen weil sie ihre Heimat liebten*⁴⁴.

Этого знака верности своим умершим и памяти о них, этих скромных немецких могил и лаконической надписи я не забыл. Мне это казалось таким близким тем немецким традициям, с которыми я соприкоснулся в детстве.

Гитлер тогда еще был для меня далекой сказкой про Кощея, и только в короткие минуты я создавал опасность, нависшую над нашей страной, опасность, которую заглушала эйфория обретенной независимости, мой собственный труд, какой-то глубоко таящийся, инстинктивный и неразумный оптимизм в отношении судеб Польши.

Пробуждение наступило только в 1939 году. Начало войны, нападение на Польшу, дальнейший ход событий — всё новые и новые вести о зверствах и готовности вычеркнуть нас с карты мира.

Когда же я стал задумываться над этим поглубже, иначе, нежели только с исключительной точки зрения моей страны? Гитлеровцы — преступники; немцы — это гитлеровцы; кто может сегодня думать об исключениях... Я знал, что придет время, когда надо будет думать о немцах иначе, всегда знал и чувствовал, что враждебное мышление о каком бы то ни было народе *en bloc* нравственно неприемлемо, что это буквально грех.

После войны эта мысль начала меня преследовать, но в немногочисленных встречах с немцами мне не удалось установить настолько близкие отношения, чтобы прочувствовать современную Германию изнутри и наново. Германию тех военных и послевоенных лет. Только рассказы всё большего числа прибывавших на Запад близких мне людей, поляков и евреев, и выходившие книги о немецких лагерях вносили всё новый свет и придавали форму тому германскому миру — такому, каким пережили его поляки и евреи во время войны на родине и в лагерях, — форму невыносимо жестокую, которая тогда явилась мне так резко, будто я сам прожил эти годы в Польше. И только этот шок заставил меня задуматься.

В 1950 году я поехал в Берлин; там тогда создавался Конгресс свободы культуры. Это была моя первая встреча с послевоенной Германией. Берлин был еще полон руин и калек. Неожиданно для меня после триумфального, великолепного Нью-Йорка, откуда я возвращался, Берлин произвел на меня вместо враждебного, отталкивающего какое-то близкое, свойское впечатление. Он напомнил мне Варшаву, я почуял Польшу в двух шагах. Мир руин, непосредственный контакт с людьми на улице. Тиргартен — несколько

44 «Они пали, ибо любили родину».

чахлых деревьев (я помнил великолепную довоенную зелень), черный скелет Рейхстага, равнинные окрестности Берлина среди прекрасных лесов — «наши деревья», сосны и березы, — скромные, почти варшавские кофейни над озерами, и все время встречи с немцами, вежливые разговоры с незнакомыми, иногда многословные, но чаще всего по-человечески непринужденные и дружелюбные, вплоть до той безногой нищенки на колесиках, которая, побираясь в 11 часов вечера на улице, в проломе сгоревшего дома, спросила меня, который час, объясняя, что пора уж ей возвращаться домой, спать.

Насколько она казалась мне ближе и даже не такой трагичной в этом мире калек и нищеты, выглядивавшей отовсюду, чем нищенка-калека, которую я видел в Нью-Йорке несколько недель назад, скрюченную на площади Рокфеллера. В «роскошном» (для тогдашнего Берлина или Варшавы) пальто, в шляпке в розовый цветочек, она с кривой улыбкой (*keep smiling*) продавала прохожим карандаши, которые там ничего не стоят, — чистая видимость, чтобы собирать милостыню.

Берлин сразу после Нью-Йорка, Берлин краха и массовой нищеты, возбуждал во мне простейшую реакцию принадлежности к тому же человечеству, и я понял, что возможно относиться к немцам не только травматически. А ведь и тогда я как поляк встречался с... сюрпризами. Один немец, боровшийся за объединенную Европу, рассказал мне, как он ужасно удивился, обнаружив в лагере военнопленных офицеров поляка, который переводил Данте: «Первый раз я увидел, что есть образованные поляки, не только кухарки и прачки!» Мои случайные собеседники: кельнеры, рассыльные, носильщики — иногда начинали говорить со мной по-польски. От немцев они, однако, это инстинктивно скрывали, не хотели быть «nur Polen». (Шведская семья моих друзей приютила в те времена молодого парнишку, сына пастора из Восточного Берлина. Когда его спросили, видел ли он сам у себя в городе казни, он подумав ответил, что видел, как вешали на площади, «aber es waren nur Polen»⁴⁵).

В 1955 году я поехал в Южную Америку. Пароход заполняли итальянцы, испанцы, южноамериканцы. Господствовали итальянский и испанский языки. Только через несколько дней я обнаружил среди пассажиров довольно большую долю немцев.

В самом начале нашего путешествия у меня на глазах разыгралась неприятная сцена. Симпатичная дама с маленькими детьми разговаривалась с пожилой женщиной, которая после обмена несколькими дружелюбными фразами вдруг сорвалась с места, резко заявив, что со своей собеседницей не хочет иметь ровно ничего общего. Почему? Потому что она еврейка, а та госпожа — немка! Помню выражение добродушного лица немки — изумление, непонимание безвинно испытанной тяжелой обиды. «Что ж такого я сделала?» Я видел, что она рассказывала о происшествии почти незнакомым людям, как будто растерявшись, ища ответа и объяснения, словно десять лет спустя после войны в ее сознании даже не мелькнула мысль, что та женщина, может быть, потеряла в газовых камерах или гетто всех своих родных.

На этом пароходе я познакомился с профессором Венского университета, который ехал преподавать в Бразилию. Все свое морское путешествие я провел в разговорах

45 «...но это были всего лишь поляки».

с ним. Ему я обязан первым контактом с немцем, которому я мог всё сказать и рассказать. Его реакция никогда не была низкой, мнимой. Я рассказывал ему многое — помню, в частности, рассказал о судьбе человека, о котором с любовью и восхищением говорил мне еще в советском лагере в Грязовце один из самых близких моих лагерных друзей доктор Кон. Сам доктор Кон был студентом-медиком во Львове, как военный врач и офицер попал в лагерь. Он рассказывал мне о своем учителе, скромном враче маленького городка Городенки. Ему он был обязан тем, что пошел учиться на врача. Когда немцы решили ликвидировать городенских евреев, то забрали несколько сот людей в лес и велели им рыть для себя могилы. Этот врач был среди смертников. Вдруг немецкий офицер узнал его среди гробокопателей. Врач перед тем оказал ему какие-то услуги — лечил его? Офицер приказал ему выйти из рядов и вернуться домой, к семье, которая еще была жива. Врач отказался, он предпочитал остаться и дальше рыть могилы вместе с остальными и потом вместе с остальными быть расстрелянным на краю этой свежерытой могилы. Что это значило? Разве этот жест мог хоть кому-то помочь? Помочь этим евреям, ждущим смерти, в затерянном местечке Центральной Европы, о существовании которого в Западной Европе почти никто не знал? Жест бедного еврея мог что-то значит в универсальных, пророческих «запутанных расчетах», в которых запутался даже Дриё Ла Рошель, француз, писатель бдительный и совершенно бескорыстный. Обо всем этом я говорил с профессором С., лежа в шезлонгах на палубе. Он мне ручался — и я ему верю, — что во время войны ничего или почти ничего не знал. Он был профессором Венского университета в те времена, когда уничтожали этих евреев в Городенке и повсюду, когда самых юных поляков — почти детей — из Бухенвальда сделали подручными палачей, приказав им тащить по деревням и городам Тюрингии виселицу в форме буквы «Т», на которой можно было повесить с каждой стороны трех человек, когда поляков вешали за «измену чести» (которая заключалась в том, что они допустили побег своих товарищей из лагеря и не предали их), когда поляки, евреи, цыгане и многие-многие другие сотнями погибали прямо под Веной, в Медлинге, забитые дубинками. Он же был прямо рядом с Веной, этот Медлинг, старый гипсовый карьер, который руками заключенных со всей Европы был превращен в завод реактивных самолетов «Хейнкель». Грязь и землю вывозили тачками, люди работали по колено в воду, завод действовал в три смены. По ступенькам спускались вниз — этот спуск вместе с ожиданием в очереди, в грязи и снегу, продолжался час. Люди в очереди замерзали в мокром снегу, умирали главным образом от воспаления легких; каждые несколько дней проводились штрафные упражнения во дворе, им приказывали падать в грязь и снег, немецкий цыган железной палкой забивал заключенных за любое неповиновение. Самым частым наказанием на заводе были 25 ударов резиновой дубинкой. После 15-20 ударов человек терял сознание, умирал. На глазах моего друга Ярослава Гурского, ныне эмигранта в далеком Пуэрта-Ордасе в Венесуэле, который мне это рассказывал, забили насмерть одного еврея, потому что нашли у него в кармане две печеные картошки.

Оттуда, когда приближался советский фронт, этих людей погнали в Маутхаузен через австрийские горы. Каждого, кто по дороге сел и уже был не в силах встать, добивали. Из двух тысяч дошло 600-700. По дороге четыре дня им не давали ни воды, ни еды. Эта толпа кормилась травами, насекомыми. Население, видя это шествие призраков, отворачивалось с отвращением, якобы верило, что все эти люди — уголовники, преступники и дегенераты. А там, в Маутхаузене, тоже не так далеко от Вены, утром,

в полдень и вечером по двести человек отправляли в газовые камеры, пока не закончили постройку камер, которые убивали по тысяче человек за раз. Пепел людей, которых там сжигали, продавали австрийским крестьянам на удобрение. И этого удобрения трудолюбивым крестьянам всё было мало, требовали еще.

В том же Маутхаузене, следует не забывать, п е р ы м и, кто погиб, были австрийцы — противники Гитлера.

Среди сцен и фактов, которые я рассказывал моему собеседнику, было одно событие, которое могло бы показаться мелким на фоне пережитого в те годы. На меня оно произвело наибольшее впечатление — потому что личное, потому что символическое.

Немецкое наступление в сентябре 1939 года на несколько дней остановилось на Висле и Нареве, на первоначально установленной договором Молотова—Риббентропа советско-германской границе. Самая младшая моя сестра жила тогда в имении родных, в нескольких десятках километров к востоку. Красная армия, которая 17 сентября ударила с востока, уже дошла до повета, где находилось это имение. Перед нй бежали вести о том, что людей вывозят в глубь России, и о расстрелах — прежде всего помещиков. Сестра решила бежать под Краков. Чтобы добраться туда, ей нужно было перейти мост через Нарев в Пултуск, на территорию, уже оккупированную немецкими войсками. На крестьянской телеге с тремя малыми детьми она доехала до реки и тут ждала, пропустят ли ее немцы через мост.

Немецкие солдаты в эйфории победы окружили телегу. Один из них, молодой красивый блондин, опершись о край телеги, на которой она ехала, начал весело расспрашивать: «Ваш муж, наверно, генерал, все поляки — генералы... Не в армии? Сердечник? Ну, конечно, поляки больны, боятся воевать, а мы все воюем, вот и побеждаем».

Моя сестра не сомневалась, что от разрешения переехать мост зависит жизнь детей и ее собственная. Ждала приговора. Пришел категорический ответ. Никого через мост с востока на запад пропускать не разрешается.

Среди толпы солдат стоял молодой офицер. Он молчал и упорно смотрел на младшую, семилетнюю девочку, Эльжбету, которая сидела, перепуганная, на коленях у матери, с глазами, полными, слез, и слегка шевелила губами — молилась. Внезапно немец подошел к телеге. «Я не имею права вас пропустить, — сказал он, — но сделаю это, если вы мне в чем-то покланаетесь». «Wenn Sie mir etwas schwören». Сестра прямо высунулась из телеги. «Да разумеется, поклянусь, в чем угодно поклянусь». Может, у него есть кто-то дорогой ему на той стороне, мелькнуло у нее в голове, вот и обяжет меня им заняться, помочь.

«Вы должны мне покланяться, — сказал он, продолжая глядеть на девочку, — что воспитаете своих детей гражданами Третьего Рейха, совершенно верными и преданными».

Сестра, как высунулась, так же инстинктивно отшатнулась.

«Нет, в этом я не поклянусь».

«Zurück!»

Матери с детьми пришлось вернуться туда, откуда она спасалась бегством, — с чувством, что она осуждена.

Все пошло иначе. Немцы не остановились на Нареве, пошли дальше, большевики, проведя сутки в доме, который она оставила, отступили за Буг, но этот диалог двух людей, который кончился приговором матери и трех детей к вероятному уничтожению, был столкновением двух миров. Сколько раз я рассказывал это разным людям, полякам, англичанам, евреям, французам, — всем поведение немецкого офицера представлялось чудовищным и непонятным. Никто из нас не пытался вникнуть в смысл, корень такого поведения. Ведь этот офицер хотел помочь матери и детям, даже выходя за пределы своих прав, и он же их приговорил?

Но мой собеседник на пароходе, который всегда так живо реагировал на мои рассказы и комментировал их, тут замолк. На следующий день, когда все пассажиры праздновали переход экватора и Нептун в льняноволосом парике и бумажной короне «крестил» под взрывы смеха швыряемых в бассейн пассажиров, мой немец лежал, обложившись книгами, на лежаке, на совершенно пустой палубе. Я лег рядом. Мой приятель заговорил: «Я долго думал о том, что вы мне вчера рассказали, эта встреча сестры... не умею реагировать сразу. Видите ли... этот офицер, молодой немец, — я хочу его перед вами защитить. Он наверное был идейный. Он верил в высшую расу, верил, что не только спасает вашу сестру, но дает ей что-то, по его понятиям самое ценное».

Теперь замолк я. В первый момент буквально огорченный. Возможен ли контакт с немцами, если у самых лучших инстинктивная реакция на этот факт так отличается от нашей!

Тогда я стал ему рассказывать всё, что знаю из непосредственных рассказов очевидцев о том, как осаждались поляков высшей расой, о методах истребления поляков и евреев.

«Клянусь вам, — повторял мой собеседник, — я ничего о таких делах не знал». После долгого молчания он прибавил: «Только около 1942 года до меня дошли вести о евреях, которых убивали немцы, где-то в России, но было сурово запрещено об этом говорить, и эти вести были глухие и ненадежные». Так говорил С., стараясь припомнить, что он знал и насколько он виноват, что не знал: «...да-да, помню, еще в 1938 году сожгли много синагог, разрушили еврейские лавки, этого я не мог не знать („Хрустальная ночь“). Молодой парень, поклонник Гитлера, прибежал тогда к нам, бледный, дрожащий: „Нет, этого я не вынесу, — говорил он, — нам приказали переодеться в штатское, изображать возмущенную толпу, жечь и разрушать. Ухожу из партии!“»

«Людей тогда еще не убивали, — прибавил С., стараясь уменьшить ужас фактов. — Через несколько дней тот же парень примчался ко мне обрадованный: „Это всё было, видимо, только по приказу низших властей, шло от дурных подчиненных, это было недоразумение, сегодня пришел приказ сверху, чтобы такую практику

прекратить, значит, там, наверху, — против этого, Гитлер этого не одобряет», — говорил он мне с облегчением. И остался в партии».

Я слушаю моего профессора с трудом. Поклонник расовых теорий? Благородный?

Но мне вспомнился 1936 год на пляже в Сопоте. Было там тогда полно экскурсий спортивной, вежливой и в массе весьма нордической молодежи из Гитлерюгенда. Запомнилась мне одна сценка: 15-16-летний мальчишка в гимнастерке ведет мальчишка, может шести-восьмилетнего, почти с материнской нежностью и вниманием. Видимо, он готовил его к какому-то вступительному экзамену в организацию, излагал ему, как сейчас помню, все ранги морского флота. Малыш слушал сосредоточенно — видно, старший взял на себя роль репетитора. Идеальная картинка. Если не те же самые, то такие же несколькими годами позже били евреев, выгоняли поляков из жилых районов, пинали ногами на варшавских улицах трупы расстрелянных бойцов. И эти последние воспоминания, думал я, не должны во мне изгладить ту невинную сцену. Она тоже была.

«Пускаются в путь добровольцами ради самопожертвования, чтобы погибнуть в рядах наемников на войне, отягощенной жестокостью», — писала Симона Вайль в 1938 году Бернаносу в связи с гражданской войной в Испании.

Мой немец на пароходе рассказывал мне об этой молодежи: о ее ИДЕАЛИЗМЕ, о ее вере в Гитлера, воплощение родины, обижаемой недобрыми соседями. Не забуду, что благодаря ему ее другое лицо, Гитлером униженное и отравленное, я начал ощущать.

У меня это связывается с огорчением молодой немки, с которой еврейка из Израиля внезапно прервала разговор, ибо эта немка, вероятно, чувствовала себя ни в чем не виновной — не только она индивидуально, но как немка, всегда верная, всегда послушная, мистически послушная власти. Сама она, может быть, потеряла на фронте или при бомбардировках самых ей дорогих людей mit stolzen Trauer, может, даже вспоминала еще свои взлеты и порывы любви к фюреру. Это соединялось у нее с памятью о героизме ближних, страданием своего народа и ни на мгновение не ассоциировалось с адом лагерей и терзаниями, причиненными ее народом. Может быть, она в них даже не верила.

Сколько раз, глядя на этом пароходе на немцев, а прежде всего на симпатичных, крайне любезных, крайне немецких женщин, которые на прощанье вписывали друг другу в альбомы сентиментальные стишки и рассказывали, как в еще разрушенных бомбами городах и разрушенных бомбами квартирах умели поставить мужу букет цветов на обеденный стол, как слушали в подвалах квартеты классической музыки, — тем сильнее в моем воображении возникали бесчеловечные сцены тупой немецкой жестокости, патологического садизма, в ушах звучали слова губернатора Франка, произнесенные на заседании правительства зимой 1941 года: «Сострадание мы должны принципиально сохранить только к немецкому народу, а кроме того — ни к кому».

Еще в 1939 году, сразу после сентябрьской кампании, 17-летний сын известного

польского дипломата вернулся в свой оставленный дом в Келецком воеводстве, собираясь там поселиться. Имение было занято баварцами, людьми спокойными, симпатичными, из Ландштурма. Его приняли любезно, в праве поселиться отказали, однако позволили навестить родной дом. Каково же, однако, было его удивление, когда он обнаружил, что в просторных погребах было собрано еврейское население соседнего местечка. Он знал среди них многих; согнанные туда, они отчаянно молили помощи, стакана воды, еды. Их почти не кормили, жили они под полом, по которому прохаживались симпатичные баварцы. Эти солдаты Ландштурма были католики, на мессе давали деньги на разные благотворительные цели, подходили к причастию, как рассказал ему ксендз из соседнего костела. Они «не слышали» воплей и стонов приговоренной к уничтожению, оголодалой еврейской массы.

Как понять, как уразуметь это соединение порядочности, *Gemütlichkeit*, и равнодушия, прития? Внутренней цензурой? Сознательной дисциплиной НЕдопущения ассоциаций, которая в конце концов привела к неспособности ассоциировать.

В одном женском лагере, когда его занимали союзники, был найден брошенный альбом; женщины-заклученные не верили своим глазам: на старательно вклеенных фотографиях они видели трогательные сцены, опознали там самую жестокую надзирательшу в семейном кругу, со своей старенькой мамочкой, с ребенком на коленях и роскошной материнской улыбкой на лице. Та же самая женщина в лагере не расставалась со шпичрутенем, била до крови, иногда без всякого повода, подчиненных ей женщин, измывалась над ними.

«Широк человек, слишком даже широк, — говорил Достоевский, — я бы сузил».

Сколько людей, вышедших из лагерей, рассказывали мне подобные сцены, где их собственные палачи, едва оказавшись по ту сторону колючей проволоки, меняли лицо, движения, ласкали детишек, гладили кошечек. Те же самые, что за минуту до этого буквально замучивали насмерть людей, разбивали черепа детям, хватая их за ноги и ударяя об стену. Удивительно ли, что, глядя на немок на пароходе, благородных, поэтичных, я был одолеваем воспоминаниями других сцен, рассказов и прямыми подозрениями, жестоко обидными?

Боровский, польский писатель, который пережил ад, буквально ад в немецких лагерях, а выйдя из них, стал страстным, активным, тотальным коммунистом в Польше, видя тогда в коммунизме единственный противовес этим немецким безумствам (в конце концов и в коммунизме он, должно быть, открыл те же приманки, обманы и те же обиды, наносимые человеку, и покончил с собой, открыв газовый кран у себя на кухне), — Боровский описал в книге, в голом отчете о том, что пережил в лагере, сцену, которую он видел. Когда с очередного этапа вытаскивали полуживых людей из битком набитых вагонов, чтобы, по дороге раздевая их и избивая, вести на смерть, молодая еврейка вырвала револьвер у эсэсовца, повседневной задачей которого было гнать этих людей в газовые камеры, и из этого револьвера выстрелила ему в живот. Эсэсовец лежал, царапая когтями землю, и восклицал: «Gott, was hab ich getan, um so wu leiden»⁴⁶.

46 «Боже, что я сделал, чтобы так страдать».

Как будет читать эти слова немец? Я же знаю, что не раз, а тысячу раз на землях, заново занятых Польшей и очищенных от немцев, поляки совершали акты мести — преступления, грабежи и убийства невинных. Тот же немец, глядя на меня, вспоминал, быть может, эти сцены, а ведь «кто первый начал» теряется в веках прошлого. Но для меня в настоящий момент дело не в жестокости, потенциальные залежи которой таит в себе если не каждый человек, то наверное каждый народ, — меня поражает способность соединять чувства, взаимно исключаящие друг друга, эта двойная жизнь и это удивительное ощущение невинности. Уже не специфически ли это немецкая черта? Гитлер сознательно развивал ее в нации и довел до окончательных последствий, разлагая своими неожиданными решениями, строя бесчисленные, непроницаемые перегородки, которые расслоили все население на менее, более и вовсе не посвященных в формы и методы борьбы. Гласил же приказ Гитлера, что никто не имеет права знать больше, чем обязан знать, — *dass niemand mehr erfahren durfte als er musste*.

Под влиянием С., его описаний и рассказов, я начал сам себя анализировать. Где граница между тем, что немцы несут от Гитлера как груз ответственности, и тем, что каждый из нас нес и несет. Несет, потому что был, потому что остался глухим, по нехватке воображения, из выгоды, из-за легкого аргумента «это не мое дело». Тысячи и тысячи поляков, поглощенных своим собственным несчастьем, равнодушно смотрели на массовое уничтожение евреев в Польше, а были и такие, которые этому радовались. «Гитлер, ну да, воплощение зла, но одно, что он хорошего сделал, чего мы бы сделать не сумели, — избавил Польшу от евреев». Такие слова доводилось слышать многим. Сегодня мы знаем, что в польских тюрьмах в межвоенный период — период независимости — били и пытали коммунистов в Луцке (упоминание об этих пытках мы находим в совершенно достоверной книге Вейсберга-Цыбульского «Великая чистка»). Мы знаем, что специальностью польской полиции было отбивать почки резиновыми дубинками, как венгерской — загонять стальные перья под ногти. Помню, в те годы я вступился на самых верхах за коммуниста, сидевшего в Луцке. Через несколько месяцев я получил вежливый ответ, на хорошей бумаге, что вопрос изучается. Не дает ли мне это возможности понять, чем была тайна немецких лагерей, истребления евреев или планов полного уничтожения поляков?

Кстати, у немцев, должно быть, работало не только слепое повиновение приказам Гитлера, было также подсознательное желание не з н а т ь , ибо это требовало нравственного, не з а в и с и м о г о отклика.

«Клянусь вам, я об этом не знал» — я еще слышу голос С. Сколько таких голосов все мы слышали?

А мы? Как это было у нас до 1939-го в годы правления Гитлера в Германии? Брестский процесс, Береза-Картузская, по счастью единственный в Польше лагерь до 1939 года, куда отправляли крайних польских националистов, украинских националистов, евреев, коммунистов и спекулянтов. Жестоко проводившееся усмирение украинцев. И об этом все мы знали — не было заговора молчания, и были голоса протеста, в том числе большой писательницы Марии Домбровской. Но выходила ли тогда моя собственная реакция за рамки либерального возмущения, которое вдобавок ничем мне не грозило, потому что Гитлера у нас не было?

Со времени моих долгих разговоров с немецким приятелем на пароходе вопрос немецкой ответственности вовсе не перестал для меня существовать, но стал не таким простым, не таким исключительным. Он стал проблемой всеобщей, выходящей далеко за рамки Германии. Сегодня я уже не могу думать о немцах в отрыве. В другой форме, с другой идеологией, приспособленной к другой стране, — разве не могло бы подобное безумие охватить любую страну?

А инстинктивное презрение стольких поляков ко всем своим соседям, а еще больше к евреям, вытекало из подобного чувства своего превосходства, даже миссии. Разве Польша не была способна поддаться — как Германия — массовому психозу, там вызванному Гитлером? Может быть, ей не позволил бы этого анархический компонент, такой чуждый немецкой психике, который бы не допустил подчинения человека целиком — добровольного, по своему решению, подчинения не только поступков, но и мыслей, потому что в таком случае не мысль обтачивает человека, а прямолинейная воля людей обтачивает мысль, и тогда не остается ни клочка мозговой извилины на вольную мысль.

Я отнюдь не собираюсь ставить наравне польские вины с явлением, пожалуй, единственным своего рода в истории, — с гитлеризмом. Есть разница между польскими винами и той пирамидой преступлений против человека, которая могла быть воздвигнута только в результате активной, систематической, до мельчайших деталей разработанной, обязывающей на самом верху концепции, в результате систематического активного согласия нации, безжалостного, слепого повиновения, труда миллионов людей, звеньев этого точного механизма. Ни одна страна не породила столько сотен и сотен инженеров, химиков, ученых, врачей, которые планировали печи крематориев, фабрики мыла из человеческого жира, которые тысячам людей делали смертельные инъекции фенола, проводили медицинские опыты на военнопленных, результатом которых было увечье или смерть, ни одна страна не породила таких армий машинисток, чертежниц, которые старательно писали и перепечатывали на машинках химические формулы, умерщвлявшие с возможно большей скоростью тысячи людей, или рисовали под руководством видных ученых и архитекторов планы зданий, целью которых было вместить как можно большее число существ, которых следовало уничтожать экономно и в кратчайшие сроки.

Магия, которой обладал Гитлер, гениальная интуиция в том, как и чем он мог играть на человеческой психике, — все это не было каким-то происшествием, выросшим из ничего, но имело свою немецкую генеалогию, идущую из глубины веков. Гейне писал о старых каменных идолах, которые «восстанут из давно позабытых руин и разрушат готические соборы».

Каких надо было людей, чтобы не поддаться этому массовому гипнозу нации, вступить с ним в борьбу и вести ее годами, до самой смерти. Не будет слишком громким словом назвать неустрашенную мысль и неустрашенную волю этих людей величием.

Группа моих друзей-федералистов пригласила меня в 50-е годы на частную проекцию кинофильма. Этот фильм был снят для Гитлера и по его приказу на суде в Берлине над участниками июльского покушения [1944 г.], где прокурором был Фрайслер.

Эту ленту обнаружили в берлинских развалинах (насколько я знаю, потом она попала в число других документальных фильмов, показывавшихся по всему миру). Среди подсудимых были, как я припоминаю, фон Хассель, посол Третьего Рейха в Риме, фон Шуленбург, посол в Москве, и целый ряд других высших чиновников и генералов. Среди всех этих людей, частично известных мне по именам и по своей деятельности, всех этих победоносных, орденосных, которые там стояли в грязных рубашках, поддерживая руками мятые брюки без подтяжек и пуговиц, был один человек, имени которого я никогда не слышал и о роли которого в покушении на Гитлера не имел никакого понятия. Это был граф Ульрих Вильгельм Шверин фон Шваненфельд, пруссак из Померании. Человек сравнительно еще молодой, с очень спокойным, сосредоточенным, почти отсутствующим лицом. Когда на экране пришла очередь судить Шверина, прокурор Фрайслер начал его с места в карьер унижать, неустанным, чудовищным криком осыпать его ругательствами. Я глядел только на это сосредоточенное и далекое лицо, на которое падал град брани: «Schweinenhund, Schweinenhund». Было мгновение, на которое прокурор умолк, чтобы сглотнуть слюну, и тогда мы услышали голос Шверина, спокойный, как бы обращенный к себе:

— Ich habe zu viel Mord in Polen gesehen (Слишком много убийств видел я в Польше).

— Mord? Mord? Das nennen Sie Mord? — залаял, завыл прокурор.

И ничего больше. Но это лицо Шверина и это одно короткое сказанное им предложение сказали мне больше, чем все, что я знал о немцах. Шверин был в тот же день расстрелян. До сего дня я сохранил ощущение, что не только присутствовал при смертном приговоре невинному, но что мое отношение к немцам с то момента изменилось.

Одиночество личности среди враждебной толпы — более того, обретенное достоинство. Значит, человек существует.

Только много лет спустя я узнал, какую роль сыграл Шверин. Еще в 1923 году в Мюнхене он видел угрозу нацизма и боролся с ним. В 1932 году открыто выступал против Гитлера перед президентскими выборами. В 1935-м, когда один его друг вернулся из Африки в Германию, он застал уже целую организацию Сопротивления, созданную Шверином и его друзьями. В 1938 году они собрались в Мекленбурге, у него дома, — у них уже были разработаны планы свергнуть Гитлера. Однако визит Чемберлена в Германию нанес удар по их замыслу. 20 июля 1944 года Шверин находился в кабинете Штауффенберга, откуда его вывели в наручниках на смерть. Тогда он сказал: «Единственное, что мы можем сделать теперь для нашего дела, — это умереть».

В 1956-1957 гг. Аннедоре Лебер выпустила две книги — 138 сухих отчетов о жизни людей, павших в борьбе с Гитлером. Каждая биография снабжена фотографией. Это главным образом полицейские снимки или фото из зала суда. На каждого человека доброй воли эти две книги, эти биографии и эти лица действуют сильнее, чем самые жуткие цифры или теоретические рассуждения.

Граф Клаус Шенк фон Штауффенберг, совершивший покушение 20 июля 1944 года, — профиль как с римской медали. Если бы покушение удалось — я думаю как свойственно поляку, — вероятно, не было бы Варшавы [Варшавского восстания]. Этот человек, которого один немецкий генерал оценивал как единственного гениального штабного офицера, этот немец своей эпохи, решаясь совершить покушение, сказал: «Перед Богом и нашей совестью, то, что я задумал, должно произойти, ибо этот человек — само зло», — 20 июля он был застрелен.

Перелистываю обе книги: портреты и биографии.

Юлиус Лебер, один из рабочих вождей Северной Германии, социал-демократ, в планах заговорщиков намеченный на пост министра внутренних дел новой Германии. Уже в 1933 году он был арестован. Снова арестован в июле 1944-го, приговорен к смертной казни. Перед приведением приговора в исполнение 6 января 1945 года он передал своим друзьям: «Ради такого хорошего, такого справедливого дела цена собственной жизни — достойная ставка. Мы сделали то, что было в наших силах. Не наша вина, что все повернулось так, а не иначе».

Вильгельм Китцельман, из крестьянской семьи в Тюрингии, двадцати с чем-то лет, говорит своим товарищам на фронте: «Если этим преступникам предстоит победить, я предпочитаю не жить». Посажённый в крепость в Орле, приговорённый к смертной казни за «подрыв оборонной силы армии». Ходатайство о помиловании отвергнуто. В той же крепости, на высоком берегу Оки, приговор приведён в исполнение в 1942 году.

22-летняя Зофья Шолль с братом Гансом, приговорённая к смертной казни в феврале 1943 года за принадлежность к «Белой Розе», тайному кружку Сопротивления, целью которого было «воскресить тяжелораненый дух Германии».

Йозеф Вирмер — ему заговорщики 20 июля предназначали министерство юстиции, восстановление правосудия. Слыша речь Гитлера по радио, он уже в 1933 году сказал: «Я буду врагом этого человека». В берлинском зале суда 8 сентября 1944 года стоит огромный, широкоплечий, сосредоточенный человек и спокойно смотрит на Фрайслера: «Если я буду висеть, господин прокурор, не я буду бояться, а вы!» Смертный приговор приведён в исполнение в тот же день.

Автор этой книги признаётся, как трудно ей было выбрать эти 138 имен из многих, которых по недостатку места описать она не могла; те, что тут названы, по словам А.Лебер, — малая частица немецких жертв войны.

Давид Руссе, освенцимский заключённый, утверждает, что в январе 1943 года были посланы в дезинфекцию тысяча мундиров с тысячи немецких офицеров, за двое суток до этого отправленных в газовые камеры.

Э.Когон, автор фундаментальной немецкой монографии о лагерях, который сам просидел в них семь лет, пишет, что после июльского покушения погибли свыше пяти тысяч людей из всех социальных слоев. При том, что выдача государственной

тайны каралась смертью, эти выкраденные цифры, должно быть, означают лишь ничтожную долю жертв бунта. Знают ли их число сами немцы сегодня, двадцать лет спустя после войны?

На процессе, о котором я упоминал, прокуратор Фрайслер громогласно заявил осужденному графу Гельмуту Джеймсу фон Мольтке: «Господин граф, у нас, национал-социалистов, одно только общее с христианством: мы требуем всего человека».

Борьба с нацизмом тоже требовала всего человека. Не только Вотан и Тор создали русло немецкого сознания и подсознания.

Шарль Дю Бос писал за много лет до катастрофы: «У меня такое впечатление, что если бы и всё оставило человека, то музыка Баха оставалась бы всегда; если бы миру предстояло быть сметенным великим катаклизмом, мы не можем себе даже представить, чтобы и музыка Баха была унесена катаклизмом».

Бах в Германии был и остается не только пищей элиты, но и хлебом насущным бесчисленных масс, его слушали люди, пораженные апокалипсисом бомбардируемых городов, трупов и руин, и он возвращал их к жизни.

И внезапно, когда я гляжу на фотографии в двух книгах Аннедоре Лебер — на лица казненных Гитлером, думаю о миллионах немецких жертв, меня поражает очевидность: малодушен каждый из нас, кто гитлеризм отождествляет с Германией, со всей Германией.

Перевод Натальи Горбаневской

СОЛЖЕНИЦЫН

*Каждый, кто хоть в самых благородных целях предал
свой разум, не присовокупив к нему всего себя — тем
самым предаёт и правду, потому что правда — это не
только знание, но жизнь сама.*

Норвид

Пресс-конференция в Цюрихе у Солженицына. Гедройц и я среди человек 30-и приглашенных журналистов мирового уровня. Резкий свет телевизионных ламп, бьющий хозяина по глазам, магнитофоны журналистов, переводчицы, которые вполголоса будут переводить слова Солженицына.

Первое впечатление — огромная, мощная фигура Солженицына. Насколько же моложе он выглядит, чем на всем известных фотокарточках; он стоит, опершись о высокую, ошестинившуюся микрофонами кафедру и медленно говорит четыре часа кряду (под рукой у него несколько исписанных страниц) громким, ни на минуту не ослабевающим голосом. Столпившиеся, опутанные телевизионными кабелями журналисты среди ослепляющих ламп — все это в двух небольших комнатах. Мы сидим увлеченные содержанием и уровнем этой речи, но еще больше — самой позицией оратора, бьющей от него двусмысленной, но не притворной силой убеждения.

Почему этот цюрихский вечер я считаю одним из самых значительных впечатлений моей жизни? Я не ищу, честно говоря, не переношу шумных сборищ, которые так же легко могут заразить слушателя стадным восторгом, как и развеять и угасить то, что существенно. После прочтения его книг — от «Одного дня Ивана Денисовича», от «Ракового корпуса» и «В круге первом» до «Архипелага Гулаг» — у меня не было потребности видеть автора, чтобы понять, кто он такой, и от всего сердца отдать ему должное, но эта встреча, эта возможность посмотреть друг другу в глаза добавила тот единственный в своем роде человеческий акцент, который ничто не заменит.

Солженицын, до этого так избегающий толпы напирających на него журналистов и репортеров, собрал нас всех, чтобы сообщить, что днем раньше (14 ноября) в Москве состоялась параллельная пресс-конференция, которую провели его друзья в связи с выходом в свет в той же Москве новой, тайной самиздатовской публикации — сборника эссе, «какого у нас в России не было за последние 50 лет». Из этих эссе три

написал он сам, остальные — его ближайшие соратники: мировой славы математик Шафаревич, историк Борисов, кибернетик Агурский, Баранов, Гордонов и еще двое, чьих фамилий он предпочел не называть. Эта книга, готовившаяся в течение шести лет, касается наиболее насущных проблем настоящего — это своеобразный символ веры определенной части угнетаемой российской интеллигенции. Озаглавлена она «Из под глыб».

О книге рассказывал не только кто-то, кто должен передать информацию, говорил человек всем своим существом — страстно и искренне.

«Вы не знаете, вы представить себе не можете, как разбредаются мысли, когда нет возможности диалога, когда нельзя вместе подумать, высказаться».

Вся его речь подчеркивала связь писателя со своими друзьями, которые там, в России, выдали эту книгу, имеющую для него исключительное значение. Во имя этого в России все ее авторы и издатели рискуют быть арестованными и сосланными, понимая, что им грозит.

Большая часть доклада Солженицына была посвящена содержанию отдельных эссе и оценке людей, принимавших участие в этой совместной работе. Книга вскоре должна выйти на русском языке в издательстве «YMCA Press» в Париже и во французском переводе в издательстве «Seuil».

Я не буду здесь кратко передавать содержание этого огромного доклада, хочу, однако, представить несколько основных направлений сборника, сохранив ту структуру и иерархию важности отдельных вопросов, которую предложил докладчик. Основной акцент был поставлен прежде всего на христианскую, религиозную в самом широком понимании этого слова сторону вопроса, на религию как источник силы, готовность полностью посвятить себя делу, готовность к лишениям, жертвам, включая смерть. Эти великие слова, звучащие так часто и уже истершиеся от повторений, в его устах прозвучали так, словно были произнесены впервые, со всей силой полного переживания.

По мнению Солженицына именно это религиозное течение, которое с новой силой только пробуждается в России, во всем мире ослабло, исчезло в современных цивилизациях, отсюда их хрупкость и бессилие.

Говоря о советском строе, Солженицын добавляет, что не хочет заниматься политикой, не призывает к еще одной революции, потому что верит, что правда может быть грознее пулеметов, достаточно чтобы ни один из подчиненных советской власти граждан не врал, не выражал своей солидарности с ней ни поклоном, ни даже улыбкой, чтобы эта власть обратилась в прах. Он с грустью добавил, что эту его мысль, столько раз озвученную, написанную, западные журналисты даже не заметили.

Слушая эти слова веры и готовности к огромным жертвам во имя великого общего дела, я не мог не вспомнить о другом известном каждому поляку тексте.

«Каждый из вас в душе носит зерно будущих законов и меру будущих границ. И если расширить и улучшить души ваши...»⁴⁷

Тот же самый моральный, безапелляционный императив, тот же акт веры, но здесь — в устах Солженицына — он одним отличался принципиально: в нем полностью отсутствовали иллюзии мессианизма, и возможно, именно в этом — вся суть его высказывания. Это была жесткая речь. Он требует, от русского народа — а за ним и от каждого народа — самоограничения, требует признать свои прошлые вины и отказаться от всего, что его родина отобрала у других, от всего, чем она сама не является.

Когда Солженицын говорил об этом с заразной магией собственной веры, я, признаюсь, слушал его с волнением, но и с опаской. В моей памяти мелькнул юный Саня из книги Солженицына «Август Четырнадцатого», притаившийся в парке Ясной Поляны, куда он пришел, чтобы от великого старца получить ответ на вопрос: «Как жить?». Хмурый старик ответил: «Служить добру и тем самым создавать Царство Божье на земле, никто ничего лучшего не придумал, любовью и только любовью». А Саня на это, хоть и с дрожью в голосе: «А что, если любовь не так сильна, не так обязательна во всех, и не возьмет верха? Если она не победит, ведь тогда ваше учение, Лев Николаевич, окажется... бесплодным?»

Следует основательно обдумать вопрос, что общего у Солженицына с Толстым, а в чем они расходятся. Толстой, этот король Лир, сбежавший из Ясной Поляны и умерший на маленькой провинциальной станции, глубочайшим образом русских, и не только русских, перепахал. У него были тысячи последователей, непротивленцев, для которых важнее всего была заповедь «Не убий». Сколько же их сидело по царским тюрьмам! Но спасла ли отчизну эта горсточка чистых?

И вот тут мне кажется между Толстым и Солженицыным нет согласия: Солженицын, как человек борьбы, представляется мне бесконечно менее догматичным и более гибким, чем Толстой — старец, объявивший непротивление злу практически единственным путем. Солженицын понимает, глубже чувствует ту сеть противоречий, в которой барахтается человек, те разные слои исторического сознания и необходимости, в которых человеку — если он хочет жить в обществе — приходится существовать.

Как я уже писал, Солженицын в своей речи постоянно возвращался к тому, что он не призывает к новой революции, к еще одной революции, что цель его доклада не политическая, а моральная, что суть прежде всего в том, чтобы возвыситься, возрасти — в победе над собой, но не только отдельно взятого человека, но целых народов, — без этого ничего сделать нельзя. Но результаты этой речи не могут не быть политическими. Верит ли Солженицын в то, что стены Иерихона падут от одних лишь «трубных гласов» и «воинственных кличей»? Отношение Солженицына к коммунизму предельно ясно: он, словно старую ветошь, отбрасывает его прочь, считая эту теорию, эту идеологию

47 Цитата из мессианского манифеста Адама Мицкевича «Книги народа польского и польского пилигримства».

в Советском Союзе на сегодняшний день уже мертвой. Классовая борьба уже никого не вдохновляет, слишком много крови было пролито.

Сталинизм? Это слово он перечеркивает с презрением — оно ничего не значит, это лишь ширма, которой люди прикрывают уже мертвую идею. И добавляет: «Я сам попал за решетку, утверждая, что Сталин искажил идеи Ленина, что Ленин был хороший, а Сталин плохой. Я ошибался — Сталин прилежно продолжал ленинскую линию. Сегодня мы уже слышим, что и Ленин нехороший, потому что фальсифицировал идеи Маркса; может быть на Западе Маркс все еще является движущей силой для тех или иных начинаний, но в России, в стране Советов, благодаря власти этих советов, в течение ста лет имени Маркса даже упомянуть будет нельзя».

Пересказывая содержание одного из эссе подготовленного в Москве сборника, оратор подчеркивает, что критика эта касается всего социализма, от самых его основ, от Платона до Маркса, его мифологии, его устаревшей идеологии, ставшей сегодня настолько многозначной, что напоминает мешок, в который каждый может засунуть все, что пожелает.

Основным вопросом этой речи была проблема национализма. Я знаю, — говорил писатель, — что на Западе эта проблема тоже принадлежит к болезненным, но это мелочь по сравнению с воспалительным процессом, которым охвачены национальные вопросы в Советском Союзе. Проблема национализма стоит сегодня в России на острие ножа, достаточно одной искры, чтобы советский мир погрузился в огонь и хаос.

Как русские должны себя вести в этой ситуации? Прежде всего категорически отказаться от классического советского метода, то есть от разжигания в многонациональном государстве национализмов малых народов, чтобы — после того как к власти придут коммунисты — со всей жестокостью и решительностью уничтожать эти национальные устремления, прибирая к рукам появившиеся новые государственные структуры.

Следует увидеть, что национальные идеи вовсе не «преодолены», наоборот, никогда еще они не были так жизнеспособны. Увидеть это и принять всю ответственность за свое национальное прошлое и свои национальные преступления. Следует ограничить собственные национальные амбиции, и если речь идет о России, следует быть готовыми отказаться от всех территорий, население которых хочет отделиться, стремясь к собственной национальной независимости.

«Этой мысли в том, что я пишу, пресса тоже до сих пор не замечала», — с грустью замечает Солженицын. — Ведь я именно поэтому сказал, что наш океан — это не Индийский океан, а Северный Ледовитый, потому что все народы, стремящиеся отделиться от России, должны иметь на это свободное право».

Все это было сказано в таком порыве убеждения, когда человек всю душу вкладывает в свои слова.

Закончил свою речь Солженицын ответами на вопросы; рассказывал о «Континенте», недавно появившемся журнале (пока только в русской и немецкой языковых версиях), в редакцию которого он не входит, но с линией журнала солидарен. В связи с этим дал резкий ответ на открытое письмо Гюнтера Грасса, напоминая о том, что левые силы, которые сегодня упрекают журнал в том, что он воспользовался помощью издательства Шпрингера — как все эти левые силы всего земного шара в течение многих лет приглашали в гости, угощали и сами навещали «наших палачей». Говоря о палачах, Солженицын упомянул Катынь, Варшаву, Будапешт и Прагу.

*

После этого многочасовой речи мы, я и Гедройц, могли переговорить с Солженицыным с глазу на глаз. И что нас поразило, так это болезненная судорога его голоса, когда он говорил о Варшаве. Ведь в 44-м он еще был на западном фронте, его еще не арестовали.

«Красная Армия не могла вам помочь? Какой бред! Артиллерия молчала, а они в бинокли наблюдали, как гибнет Варшава!»

Чувствовалось, что это воспоминание до сих пор занозой сидит в сердце Солженицына, потому что он действительно понимает родину в категориях коллективной ответственности.

*

Я хотел бы к этому отчету, составленному из записанных по горячим следам заметок, добавить несколько слов, процитировав самого себя. В 1948 году во вступительном слове к своей книге «На бесчеловечной земле» я написал, сколь многим я обязан России, русской литературе и своим русским друзьям, добавив, что несмотря на это «в ходе работы над этой книгой не ослабевало во мне, а усиливалось осознание трагического противостояния Польши и России, наших концепций, наших исторических путей. Усиливалось чувство, что Польша находится в смертельной опасности».

«В моем, в нашем отношении к России (я могу сказать в «нашем», поскольку линия «Культуры» изначально была одна и та же) существенно то, что так же как 27 лет назад, так и теперь мы верим, что угроза может и должна исчезнуть, когда там, в России, у нас будет, как говорил Норвид, собственная партия, то есть настоящие союзники и друзья, когда мы не только освободимся от советского гнета, но когда и Россия, и мы, поляки, преодолеем собственный национальный шовинизм и вечное искушение империализма. Эта открытая, полная надежды по отношению к будущему позиция была и есть позицией «Культуры». Солженицын — это наша надежда на общую борьбу за одну цель: за свободу народов Востока Европы».

*«Культура», 1974, № 12
Перевод Ирины Лапты*

УГРОЗА НАЦИОНАЛИЗМОВ

Беседа И.Г. Чапского с К. Померанцевым

Большой друг России талантливый польский художник Иосиф Георгиевич Чапский является еще и известным общественным деятелем, писателем, публицистом и журналистом. В 1948 году он был одним из основателей издающегося в Париже польского эмигрантского общественного, политического и литературного журнала «Культура».

— Иосиф Георгиевич, как сделать так, чтобы национализм, т. е. естественное чувство своей принадлежности к определенному народу и, с этой точки зрения, чувство положительное не вырождалось бы в чувство ненависти к другим народам и тем самым не становилось бы одним из отрицательнейших явлений нашего времени?

— Чтобы ответить на ваш вопрос, я хотел бы прежде попробовать определить, как звучит для меня слово национализм. В моей молодости «естественное чувство принадлежности и любви к своему народу», как вы говорите, называлось патриотизмом. В самом же слове национализм звучала и до сих пор звучит для меня черта агрессивная по отношению к другим, чем моя, нациям и народам. Но сегодня само слово патриотизм звучит устарело, и везде употребляется лишь слово — национализм, вмещающее в себе и гордую воинственную по отношению к другим странам агрессивность, и просто любовь к родине.

Ведь мы живем в эпоху, где крайний национализм имеет страстных сторонников чуть ли не на всем земном шаре, и что особенно интересно, в странах управляемых коммунизмом, который ведь родился под знаком интернационала — национализм представляет там грозную для коммунизма и все возрастающую опасность.

— С вами трудно не согласиться. Но не думаете ли вы, что тот национализм, который вас так отталкивает — и который я, конечно, не имел в виду — порождение русского коммунизма и немецкого национал-социализма? Ведь это они до предела обострили вражду народов, сделали неизбежными столкновение национальностей.

— Я с вами не совсем согласен. Ведь национализм существовал много раньше. Можно было бы привести тысячи примеров: великий Бисмарк писал, что во имя Германии необходимо истребить (ausrotten) поляков, как кроликов. В части же Польши, находившейся под русским владычеством, до 1905 года борьба за польскую школу считалась государственным преступлением, тогда как сто лет назад на Украине министр Валуев издал указ, запрещающий издание книг на украинском языке.

Француз же Шарль Моррас создал целую теорию о национализме, имевшую большое влияние до гитлеризма и большевизма, и не только в одной Франции.

— *Не считаете ли вы, что безбожный, атеистический коммунизм породил все эти отрицательные явления, как своего рода реакцию на безбожие? Люди стали искать абсолютное там, где этого абсолютного нет.*

— Хотел бы я с вами согласиться, но ведь в Ирландии, в Ливане, где люди, подчеркивающие свою религиозную принадлежность — католики и лютеране в Ирландии, христиане и магометане в Ливане — живут уже сколько лет среди диких взаимных погромов и убийств. Они также стали искать абсолютное — и какими методами! — там, где абсолютного нет.

Если теперь говорить об отношениях между народами Советского Союза, то коммунизм действительно своими бесчеловечными преследованиями с настоящими пытками, с уничтожением целых народов (напр., крымских татар) или целых слоев населения (напр., украинских крестьян), настолько обострил центробежные силы, стремящихся к национальной независимости и поработенных Москвой народов, что уже до последнего предела ожесточил и укрепил все националистические движения. Таким образом, обостренный национализм этих народов включил в себя и их стремление к свободе и их борьбу за свою душу, но одновременно повлек за собой, увы! — жажду мести и ненависть к поработителю.

Тут дело зашло так далеко, как напр. на Украине или в Прибалтике — что ни о каком возвращении назад, в обозримом будущем во всяком случае не может быть речи. Здесь может быть лишь один выход: создание на совершенно новых началах совершенно новых отношений, для обогащающего всех нового сожительства свободных народов.

— Каково в этом отношении положение в современной Польше? Делают ли там различие между «советскими» и «русскими»?

— Основываясь на многочисленных встречах с поляками из Польши, мне кажется, что происходит отождествление там «советских людей» с «русскими», увы, различий почти не делается. Для Польши очаг коммунизма — Россия. Это из России он обрушился на нас. Коммунизм еще больше разжег старую «семейную вражду».

Все же надо сказать, что не только мы, здесь в эмиграции, но и поляки в Польше, благодаря, между прочим, волне новой русской эмиграции и прежде всего книгам Солженицына, которые, несмотря на цензуру, проникают в Польшу, начинают распознавать и другой облик современной России, России ГУЛАГа, России борьбы с советской властью, нашей общей борьбы. Здесь в эмиграции и там в самой Польше существуют настоящие друзья России, борющиеся с этим ложным отождествлением советского и русского.

Журнал «Культура» в котором я сотрудничаю с момента его возникновения, вот уже скоро тридцать лет, с самого начала поставил своей задачей преодоление

этой вековой польско-русской вражды, вражды с Россией, с которой нас так много разделяет, но и так много связывает роднит.

Сегодня развязка этой вековой распри неразрывно связана с ясным и недвусмысленным признанием прав всех народов Советского Союза на полное и безоговорочное самоопределение, народов, входивших в царскую Россию, а в свое время в Польскую Речь Посполитую.

«Русская Мысль»
№ 3107, 10 июня 1976

ПОСМЕРТНОЕ — СЛИШКОМ ЛИЧНОЕ

Умерла Анна Равич. Ушла в расцвете сил так внезапно. Осознаём ли все мы, знавшие ее, что мы потеряли? Как бы она обиделась на меня, если бы сегодня я написал о ней в слишком розовых тонах!

Пожелай я охарактеризовать ее в нескольких словах, то сказал бы, что ее дружба была трудной и как же часто агрессивной и даже несправедливой, но столь исключительной по своему содержанию, такой силы и масштаба, нередко, такой теплоты, что ее трудно было приравнять к какой-либо другой. Спустя всего несколько недель после ее смерти покончил с собой Петр Равич.

Эта смерть была так непосредственно связана с уходом Анки, что мне кажется, я думаю не о двух смертях, но о смерти одной. Смерти этих двух существ, столь разных, то поссорившихся насмерть, то самых близких друг другу, и может быть, именно так близких в последний период их жизни.

Что очаровывало меня в Анке, так это ее сложная личность, складывавшаяся из стольких граней, не просто разных, но даже противоположных, и еще ее смелость. Она была еврейкой, погруженной во все то, что вынес ее народ, во все эти ужасы. Память о пережитом никогда не покидала ее, была просто физически ощутимой: страшно даже вспомнить, как сильно она чувствовала ее в смерти самых близких и любимых и в своей собственной судьбе.

Была ли Анка Равич также полькой? Мне всегда казалось, что была, настолько безразличны были ей и наши судьбы. Однако сама она не хотела, чтобы ее считали полькой (слишком много там было травм). А ведь с самого раннего, счастливого детства в далекой Дисне на креслах, где были у нее первые польские друзья и польская школа, и влияние Жеромского, вынесла она особое внимание к социальным недугам и человеческим бедам, которыми была отмечена вся ее жизнь.

Потом был Львов, университет, советская оккупация, коммунизм, который полностью завладел ею; от этого коммунизма она отошла, как и многие другие. Я мечтал, чтобы она когда-нибудь написала о тех временах с присущей ей жестокой откровенностью. Она не сделала этого, но не раз повторяла мне, что тот, кто размышляет о той эпохе, не осознавая, какой трагедией была безграничная вера в коммунизм, которая со временем перевоплощалась в ненависть, тот ничего о ней не знает.

Говоря о ней, я не забываю, насколько сильна была в ней русская тема: литература, язык, который она так хорошо знала, сосуществование здесь, в Париже, с русской эмиграцией, сопереживание ей, тесные связи с русским «Континентом».

*

Писать о Петре мне еще труднее, чем о ней. Мы очень редко виделись с ним, так как он вел почти исключительно ночную жизнь, по кафе, а я был далек от этой жизни. Он знал почти всех, и все знали его в парижском литературном мире, где, кажется, у него были одни друзья. Между нами никогда не возникало даже намека на трения, я был или, вернее, мы были, — наверное, я могу так сказать, — как-то связаны друг с другом; его неспособность к ненависти, его обезоруживающая, часто печальная улыбка, его многочисленные статьи в «Монд», затрагивающие польские и русские проблемы в рецензиях книг, издание которых он старался протолкнуть во Франции. Я чуть не забыл о его великой книге «Le sang du ciel»⁴⁸. Переведенная на девять языков, она получила одну из главных литературных премий в Париже, казалась началом большой литературной карьеры. Но Петр, хотя писал много, не спешил с публикациями. Похоже, он был слишком ленив, а прежде всего, лишен даже тени честолюбия и писательских амбиций.

Когда я размышляю о них обоих, об их многолетнем и столь бурном союзе, то думаю, что трудно было бы найти людей настолько разных, которые настолько иначе реагировали бы на жизнь: ее хищная воля к жизни, ее агрессивность и его тихая пассивность лунатика. Разве написал бы Петр книгу, которая завоевала не только мимолетную славу, но и устойчивое положение в литературном мире, если бы не Анка?

Свое положение он использовал, кажется, исключительно ради того, чтобы стать связующим звеном не только для поляков или русских, но вообще для литературы из-за железного занавеса — он писал о ней либо снабжал предисловиями выходившие в Париже книги.

Его небольшая книжка «Bloc-notes d'un contre-révolutionnaire»⁴⁹ прошла почти незамеченной, огорчив записных леваков, так как за хепенингом 1968 года он сумел разглядеть тоталитарную нетерпимость.

*

Совсем недавно мы разговаривали с Анкой о Виткации. Я говорил ей, что только люди нашего поколения, для которых польский, русский, немецкий и французский были языками, на которых обычно говорили его читатели, только они могут оценить, то есть, по-настоящему прочесть эту прозу, где автор столь блестяще и бесцеремонно полонизировал русские, немецкие, французские слова, создавая просто новаторские неологизмы, ведь именно это делало его прозу превосходной.

⁴⁸ «Кровь неба» (франц.)

⁴⁹ «Записки контрреволюционера» (франц.)

Анка неожиданно ответила мне на это: «Подумай, какое у нас преимущество, что мы родились на Белой Руси, где разнообразнейшие влияния, где столкновения, традиции столь различных и очень часто противоположных тенденций создавали стимул для мысли даже у тех, кто не осознавал этого». И мне вдруг стало ясно, что общий климат той страны, которую мы называли кресами, породил и между нами какую-то таинственную форму близости.

Легко повторять, что незаменимых людей нет — не только каждый человек незаменим, но каждая настоящая встреча обладает неповторимой уникальностью. Этот акцент, этот колорит наших отношений уже не повторится, и он встречается все реже с тех пор, как мы оказались оторванными от той страны, нашей страны.

Прощание с ними — это также прощание с тем миром, и может быть, еще и поэтому их уход причиняет такую боль.

*«Культура», 1982, № 7/8
Перевод Владимира Окуня*

КАК ЖИТЬ?

(Отрывок из статьи)

Все мы знаем Валериана Лукасинского, основавшего в 1821 году тайное Патриотическое общество. Ни одна публикация по истории Польши XIX века без его судьбы обойтись не может, но, как это обычно происходит, факты и слова, чересчур часто повторяемые, понемногу мертвеют. Мы знаем факты, но наше воображение за ними не поспевает.

Лукасинский как преступник из преступников провел сорок лет в тюрьме, из которых тридцать — в подземных казематах Шлиссельбургской крепости, под нависающими гранитными сводами, полностью отрезанный от мира и людей, ибо даже охранявшим его солдатам было строжайше запрещено с ним разговаривать. Пищу подавали ему в молчании. В духовнике, о котором он многократно просил, ему отказали. Со временем даже было забыто, кто он, этот опасный преступник. Много лет спустя после его ареста сестра Лукасинского обратилась с прошением к царю, не пожелает ли он сообщить ей, жив ли ее брат, молиться ли ей за него как за живого или как за умершего. На прошении написано: «Оставить без ответа». Лишь в марте 1862 г. к Лукасинскому допустили исповедника. В сентябре 1863 г. старец начал писать свои записки. Он умер 17 февраля 1868 года.

В книге, о которой я пишу («Любите врагов своих»), помещено его завещание, которое сегодня каждый может легко прочитать. Вот его фрагмент:

«С 1815 до 1863 года минуло уже сорок восемь лет, то есть почти полвека. Три поколения прошли, а четвертое начало свой путь. Каждое поколение передавало последующему страдание, слезы и скорбь, а вместе с ними проклятия, ненависть и жажду мести. (...) Я не жилец уже на этом свете. Свободный от страха и надежды, а заодно и от предрассудков, предубеждений и страсти, почти не связанный с действительностью, я живу лишь в прошлом. Прошлое — мой рубеж, с которого я готовлюсь уйти в далекий путь к неведомым краям будущего. В таком настроении я надеюсь вскоре предстать у престола Всевышнего и предъявить обвинительный акт против несправедливости и тирании, а просить буду не кары, не мести и даже не суровой справедливости, лишь только отеческого наставления виновным, утешения и облегчения страждущим и, наконец, согласия, мира и благословения обоим народам, ибо они соседи и не будет им дано насладиться благополучием, если сохранят прежнюю ненависть и станут взаимно вредить друг другу.

Мой голос слабее гласа вопиющего в пустыне, его не услышит ни одно живое существо».

Лукасинский после борьбы за Польшу, после десятилетий неволи, тюрем и подземелий достиг вершины «любви к врагам своим». Но как сегодня, вчитываясь в его завещание, жить в стране, где попраны свобода и право, где правит ненавистная партия, а маленький человек в черных очках сумел развернуть целую армию полиции, которая душит и топчет страну, избивает и убивает в тюрьмах и на улицах мужчин, женщин, даже детей?

Как приблизиться, как дорасти до такого всепрощения? Пассивным подчинением или борьбой? И в этой борьбе в защиту свободы не забывать ни на мгновение о тех лучших, кто полностью отдался сражению, возродил в нас надежду, свободное дыхание и свободную мысль, сотворил новую национальную солидарность, помнить о тех, кто сегодня за это брошен за решетку как преступник, о тех, кто уже ныне принадлежит к золотой легенде нашей истории.

Как мы, как каждый из нас может достичь того высочайшего уровня всепрощения, которое стало содержанием и сущностью этой великой книги? Как жить?

Да будет мне позволено вспомнить тут мое давнее прошлое. Мне было около двадцати лет, когда, будучи в России, я открыл для себя Толстого и его теорию непротivления злу насилием, ставшей для меня тогда открытием и Евангелием. Для меня и нескольких самых близких мне людей это было больше, чем грезы юности, это было откровением, как следует двигаться дальше. Война близилась к концу, и горы трупов отделяли фронты от фронтов. В России разразилась революция. Может быть, эта война в самом деле последняя? Может, наступит братство?

Возникла Польша. Еще без границ, возникла в едином порыве к свободе, от Восточного корпуса в России, от войны за Львов до восстания в Силезии. Трудно себе сегодня представить, чем был тот всеобщий порыв.

Можно только сравнить его с порывом «Солидарности». Сам я пребывал тогда в полном душевном разладе. Моя толстовская вера не позволяла мне участвовать в этом порыве, куда тянуло меня всем сердцем. Обратился я тогда с просьбой к мудрому христианину, чтобы он просветил меня в моем разладе с самим собой, — это был Дмитрий Мережковский. Выслушав меня, он рассказал мне русскую притчу, которую я так хорошо помню, будто сегодня ее услышал.

«Шел к небу странник широким трактом, полным густой грязи. Шел по обочине дороги, чтобы своего белоснежного одеяния не запачкать. В это же время по центру дороги мужик вез в телеге убогий свой скарб, пока в глубокой грязи не сломалось у него колесо. Позвал он странника, попросил о помощи, но тот ответил, что помочь ему не сможет, потому что не должен пачкать в грязи свое белоснежное одеяние. За ним шел другой странник, который, увидев разбитую телегу и мужика в беде, забыл о своих белоснежных одеждах, вошел в грязь по пояс и мужика с телегой спас. Оба странника добрались до ворот рая. Святой Петр-ключник первого странника без труда впустил, ведь его одеяние было белоснежным, но второго, выпачканного по пояс, как же ему впустить?»

Проводил его на суд к Богу. Господь взглянул на обоих странников и обоим велел пустить на небо; первого он впустил потому, что у него было белоснежные одежды, сказав: „Пусть освящается имя его раз в четыре года в високосный день”. Потом глянул Бог на странника в забрызганной грязью одежде и рек: „Ты также попадешь на небо, потому что, увидев человека в нужде, ты забыл о своих белых одеждах. Так вот за это станешь ты святым, и Церковь моя станет величать тебя три раза в год”».

Эта притча изменила мою жизнь. Итак, не пассивность будет отныне моим делом, а борьба?

Едва возвратившись в Польшу, я тут же вернулся в армию и имел честь принять активное участие во всеобщем движении Польши к свободе.

С большой робостью пересказываю я здесь эту легенду, которая повлияла на всю мою жизнь и помогла мне найти себя в минуты тяжких сомнений.

Возможно, любовь всечеловеческая труднодоступна, но и она может стать защитой от злобы, лишь одной своей мыслью, вытканной из мечты. Реальная любовь есть всегда любовь активная и действенная, ее-то в нашем жестоком мире и должны мы взращивать. И через эту неустанную борьбу сможем мы достичь всечеловеческой любви, которая объемлет и врагов. Спасая этим и себя, и тех, кого, возможно, сможем спасти от них самих.

*«Культура», 1983, № 5
Перевод Святослава Свяцкого*

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОЛЬСКОСТИ

Мне очень трудно говорить о польскости — так как моя польскость росла во мне неожиданным образом. Все мы были патриотами, все пели «Jeszcze Polska nie zginęła...» и еще «Kde domov můj?» — так как моя мать была австрийка из Чехии и считалась чешкой. А отец был национально весьма безразличным. Порядочный поляк, шляхтич и только. Наш дедушка был, правда, высоким российским чиновником — все это описала моя сестра Марыня в «Европе в семье». Мой дедушка с молодости писал о России «notre patrie». Только вот потом порвал полностью с Россией, и тогда не было такого грубого слова, которого он не произнес бы, говоря о России. Разные наши балто-русские тетки возмущались, что так нельзя говорить при детях. А эти дети — это был, к примеру, Чичерин, впоследствии большевистский комиссар. Это было невероятное переплетение.

А школы? Школы были русские. И домашний учитель невыносимый Ивановский, у которого не было и тени культуры — ничего не знал. Когда я начал читать Мицкевича, он смеялся, что это несерьезно. А наши русские школы были никудышные — весьма заурядные, хоть среди них и были превосходные гимназии. Лично я не был образованным. Ничего не знал. Читал Толстого.

Толстой откуда взялся? К Толстому достаточно прикоснуться, достаточно открыть «Анну Каренину», чтобы понять, насколько это великая литература. И сразу потом мне в руки попал Достоевский, который до сих пор остается моим писателем. Я глубоко погрузился в эту литературу, однако полностью не ушел в русскость. Русских друзей у меня было немного — несколько моих балтийских родственников, которые были «почти русские», но настоящих русских знакомств у меня лично не было. Через Толстого я пришел к непротивлению злу насилием.

Конечно, у меня были и польские книги. Я взахлеб читал Жеромского еще до 1915 года, он оказал огромное влияние на мое видение человека. К Жеромскому я обращался и позже. Он писал вещи плохие, но и замечательные тоже, и я всегда буду его защищать. А вторая важная вещь — это Корчак, его «Глупости» и «Дитя гостиной» — книги, которые сегодня, кажется, совершенно забыты, к которым сам Корчак потом относился равнодушно. Для нас тогда это было откровением.

Когда после того, как разразилась революция, я поехал под Минск, где формировалась польская армия, еще на советской территории, то там я столкнулся с такой максимальной польскостью в смысле любви к Польше и польским обычаям — и это меня восхитило. Вместе с тем, однако, я оставался всё тем же толстовским

пацифистом. Я пошел к моему командиру эскадрона и сказал ему: «Товарищ ротмистр, я иду в армию только из трусости, потому что я противник войны вообще». Он не обратил на это совершенно никакого внимания, не мог поверить — настолько это было ему чуждо. Я очень подружился с Бронекон Ромером — это был солдат как с картинки. Его я тоже склонял к пацифизму! Мы спорили без конца. Он как-то, проходя мимо — второпях возвращаясь с какого-то собрания, — бросил мне открытку, на которой написал: «Ты думаешь, что можно создать Независимую Польшу без армии?» Мне за это сегодня стыдно, но тогда я думал: какой же он ограниченный! Ведь не в этом дело, ведь если весь мир будет жить в согласии, то армия уже будет не нужна! И тогда с братьями Марыльскими мы ушли из армии. Марыльские пошли к майору (а может, ротмистру) Закревскому, который был позже командиром полка, и при мне почти его убили — у него стояли слезы в глазах, и он сказал: «Вы хотите создать новый мир. Я в ваши годы хотел того же!» Я думаю, что ни в одной армии такое невозможно. Только в польской армии. Каков сорт этих людей! Они могли нас расстрелять как дезертиров. И тогда с моими сестрами мы создали эту нашу коммуну, тот самый «пацифистский комитет», которому предстояло примирить и осчастливить весь мир. И вместе мы поехали в Петербург. Но это уже другая история.

Вернувшись на родину спустя почти год, я чувствовал себя ужасно глупо. Все говорят только об армии, а я о пацифизме. Я пошел тогда к командиру моего полка и попросил его, чтобы он мне дал какую угодно работу, лишь бы не убивать, так как убеждения мне не позволяют. Я сохранил глубочайшую признательность его благородству и мудрости. Он сказал: «У меня нет никакого сомнения, что вы сделали это не из трусости, я подумаю над этим с моими товарищами-офицерами». И спустя три дня сказал мне: «Поезжайте в Петербург!» Это был единственный мой смелый шаг в жизни. Шаг безумный. В 1918 г. я ехал туда искать потерянных товарищей. Об этом можно было бы книгу написать — удивительные встречи, удивительные случаи.

Армия, однако, мало вязалась у меня с патриотизмом, с польскостью — я по-прежнему был в русском, толстовском облучении, мучился этим. Только Мережковский мне помог, которого я встретил случайно в Петербурге: я пошел прямо к нему и говорю, что не знаю, как мне выбраться из этой ситуации, потому что ведь христианин не имеет права убивать. Он мне рассказал прекрасную легенду о святых: один шел в небо в чистых одеждах, а второй — выпачканный в грязи, потому что кому-то помогал, — это был св. Николай — и Господь сказал первому, что того будут почитать раз в четыре года, а второму — что четыре раза в год. Мережковский сказал мне: «Помни: убивать — большой грех. Но если ты сражаешься, чтобы мир стал лучше, то ты должен вместе с другими взять на себя этот грех».

Когда я вернулся, я решил, что нужно идти в армию обратно, уже без оглядки, но я, дезертир... И вот я пошел как простой солдат и сперва год был простым солдатом в бронепоезде. Ванькович меня туда направил. Там была лишь первосортная краковская молодежь. Лучший материал, чтобы показать мне этот мир. Здесь мне открылось какое-то новое окно в Польшу. Также в это время — это был 1919 год — я поехал в Краков и где-то в приемной у зубного врача нашел «Легенду Молодой Польши». И это был удар молнии. В самом деле. Я сразу увидел, что я поляк. Не то, что я им сделался, — а то, что всегда был, только об этом не знал. Бжозовский был безжалостен и беспощадно

описал мой класс, что я прекрасно понял. Мой отец всегда находил общий язык с губернатором, мои сестры, правда, вели подпольные занятия, но мой отец словно не знал этого... Этот класс смирился с тем, что было, никто не думал так, как Пилсудский. Благодаря Бжозовскому я увидел, что Польша может и должна быть, что за нее нужно бороться. Это было какое-то возвращение. Две книги, которые меня в жизни спасли, — это Бжозовский и Симона Вейль.

Но почему Польша, ее независимость оказались так важны для меня? Этого, наверное, нельзя объяснить. Есть какая-то струна в человеке, благодаря которой я прекрасно понял, что, хоть я тресни, всё равно не смогу быть ни русским, ни французом, ни тем более немцем. Еще в детстве мы с Марыней гордились тем, что у нас в семье был такой революционер. Это был тот самый Юзеф Чапский, который подписывался Крестянин Чапский, — правда, он был незаконным ребенком, и семья, кажется, хотела лишить его наследства, поэтому я теперь не знаю, была ли его революционность такой уж чистой. Нет, ошибаюсь, он был настоящим революционером, дружил с Мадзини, участвовал во всех восстаниях. Меньше нас увлекал Эдвард Чапский — «сибиряк».

В настоящей Польше я жил после возвращения из Парижа с 1932 по 1939 год. Но с кем я в Польше общался? С моей семьей, весьма замкнутой, и с немногочисленной польской родней. Моя бабка была балтийской немкой, а мать — австрийкой. А второй мой круг общения — это была богема, разумеется, международная. Во время, когда вновь выкристаллизовывалась польская национал-демократия с Дмовским, когда убили Нарutowича, а Белецкий говорил о нем: «Этот жид!», — мы создали группу, где были два еврея, один украинец — это сразу после львовской-то войны! — и один «почти грузин» — Зига Валишевский, зараженный тем миром, влюбленный в него. Мы создали польскую многонациональную группу, о которой я сегодня думаю так же, как и тогда: что настоящая Польша — это многонациональная Польша, а не Польша «чистой крови» — впрочем, где ты эту «чистую кровь» найдешь?

Эндеков, впрочем, я не знал. Это была для меня абстракция. «Форма черепа» — так тогда говорили, имея в виду тупость. В лагере, когда мы переезжали из Старобельска в Грязовец, прибудил к нашей группе какой-то пожилой мужчина в конфедератке, оказалось — эндек. У нас с ним потом койки были рядом, он оказался прекраснейшим, деликатнейшим человеком и немного смягчил мои окончательные выводы.

Лагерь — это была самая серьезная моя польская школа. Я без конца читал тогда Норвида — потому что после Бжозовского пришел Словацкий и Норвид. Норвид на всю жизнь со мной остался. Норвида у меня было два тома в лагере, где ни у кого не было книг, кроме «Огнем и мечом» — его, кажется, было шесть экземпляров. Помню, как однажды после такого чтения Ромер бросился на свою койку и воскликнул: «Как бы я хотел принимать участие в кавалерийской атаке на них и погибнуть в этой атаке!» Это была жизнь тех людей. А я — что? На меня даже в детстве «Огнем и мечом» не производило впечатления сильнее, чем Диккенс, которого, впрочем, мы любили, но который всё же не был поляком.

Сенкевичевская Польша совершенно меня не трогала. А ведь сколько этот Сенкевич для Польши сделал! Сенкевич сделал польскую армию. Сенкевич и Матейко

— второй гений. Кто сегодня представляет себе историю Польши иначе, как не через Матейко! Зига Валишевский, который ненавидел Матейко, так как считал, что тот плохо рисовал, говорил: «Как бы я хотел дожить до того момента, когда все картины Матейко будут сожжены на главной краковской площади!» У Зиги незадолго до его смерти заказали килим на большую международную выставку в Париже — и он придумал тему «Собеский под Веной», тема того самого Матейко, которого он непременно хотел сжечь! Так что у меня был трудный путь к польскости — но несомненный. Каковы некоторые возвращения?

*„Znak” 1987, № 11/12
Перевод Дениса Пелихова*

II

О Юзефе Чапском

Нина Берберова

О КНИГЕ «БЕСЧЕЛОВЕЧНАЯ ЗЕМЛЯ»⁵⁰

Студент Петербургского Университета до революции, участник совето-польской войны 1920 года, польский писатель и художник Иосиф Чапский, насчитывающий в среде русской эмиграции многочисленных друзей, человек пропитанный русской культурой, только что выпустил книгу о своем пребывании в СССР в 1939–1942 гг., под названием «Бесчеловечная земля».

Если бы среди иностранцев, а Чапский по отношению к нам несомненно является таковым, надо было в свое время выбрать человека, которого следовало бы отправить в Советскую Россию, чтобы он мог «все понять», то трудно было бы найти человека более подходящего. Чапский исколесил Россию вдоль и поперек, сначала как Зе-Ка, как раб концентрационных лагерей, где были интернированы польские офицеры, затем — как «свободный» офицер формирующейся польской армии генерала Андерса. Он говорил с русскими людьми, от А.Н. Толстого и Ахматовой до беспризорников и энкаведистов, не как жадный до сенсаций журналист, корреспондент иностранной печати, но так, как если бы один из нас оказался на родине. Один из нас, житель Петербурга, Парижа, Варшавы, он видел, чего нам видеть было не дано: позор отступления красной армии, обратный натиск ее от берегов Волги, беглецов из осажденного Ленинграда и мирный Ташкент, город хлебный... Он встретил людей — скрытых подвижников, и других — каннибалов и убийц. И это была Россия, о которой он талантливо рассказал в своей книге.

Книга разделяется на две части: первая — история поисков 15 000 польских офицеров и солдат, товарищей Чапского, по всей России — от Земли Франца Иосифа до Караганды. Они не были найдены. Только через год после отъезда поляков из России, весной 1943 года, была немцами открыта могила в Катыни, где обнаружены были трупы 4 000 человек, убитых еще весной 1940 года. Остальные 11 000 еще не найдены в русской земле и вряд ли будут когда-нибудь найдены. Но и без того все ясно: уцелевший чудом Чапский (400 человек уцелело с ним, проследовавших через лагерь

50 Мы публикуем первый отклик на книгу Юзефа Чапского «На бесчеловечной земле», которую он писал с 1942 по 1947 год. Книга вышла в издательстве «Институт литеацкии» на польском языке в Париже в 1949 г. Эта небольшая заметка Нины Берберовой, опубликованная в октябрьском номере парижской эмигрантской газеты «Народная правда» (1949, № 5 октябрь), впервые представляла книгу Чапского на русском языке. В 2012 г. книга вышла в русском переводе: Чапский Юзеф, «На бесчеловечной земле». Москва — Вроцлав: Летний сад; Коллегиум Восточной Европы им. Яна Новака-Езёранского, 2012.

в Грязовце) свидетельствует на основании своих изысканий о том, что заключенные поляки Старобельска, Козельска и Осташкова были уничтожены большевиками под предлогом того, что «Польша больше не существует и никогда существовать не будет».

Вторая половина книги рассказывает о неудаче, постигшей ген. Андерса в деле формирования польских полков на советской территории. Сталин не желал их вооружать, а англичане соглашались вооружать их только вне пределов СССР. В этой второй половине рассказаны встречи Чапского с обитателями России и Сибири и отъезд несформированных польских полков и беженцев-поляков в Иран. Там, в Азии, существует тот же «железный занавес», и не без волнения поляки перешагнули русско-персидскую границу, испытав голод, холод, унижение, оторванность от близких, потери. Они оказались «на свободе», среди «гостеприимных, сочувствующих людей»... Это была Персия!

В «мягких» и «жестких» вагонах, на дорогах, в очередях за хлебом и в театрах, в разрушенных церквях и в кабинетах вершителей судеб России, Чапский видел так много тяжелого и страшного, мрачного и тоскливого, что надо было иметь в душе прочную привязанность к русской культуре и живую память о русском человеке, чтобы все понять и многое простить, чтобы успеть заметить в приглушенных разговорах запуганных людей, иногда в их глазах, иногда в их жестах, все ту же вечную смиренность, жертвенность, безответность, на которые так чутко отзывалось сердце Чапского, братски близкого нам. Сказать ли? В противоположность другим иностранцам, бывавшим в СССР, за которыми стояла их сильная, свободная, прекрасная страна, он сам иногда бывал запуган, смирен, жертвенен и безответен, в своем качестве польского офицера в СССР, товарищи которого безвестно пропали в просторах огромной страны. Вот перед ним Рейхман, генерал МВД, правая рука Берии и Меркулова, который на вопрос Чапского: «Где наша армия?» отвечает ему: «Это не моего ведомства дело!», в то же время, как Чапский уже знает, что «дело» прошло именно через Рейхмана, что он сам распорядился судьбой 11 000 поляков, отступивших осенью 1939 года, под натиском немцев, в восточную часть Польши, оказавшуюся, при разделе, за Сталиным. Не прикрашивая свое унижение, Чапский признаётся в том, как он бежал по Москве, под ливнем и ветром, грозя кулаком Кремлю, как когда-то бедный Евгений грозил Медному Всаднику. То — под ливнем, а то и под метелью, странно напоминающей ту, которая над Варшавой бушевала над головой Александра Блока в «Возмездии»... Меркулов, всё на тот же вопрос Чапского, отвечает: «Ах, эти! Мы совершили по отношению к ним большую ошибку»... И в это мгновение Чапский чувствует, как государство раздавливает личность, словно сапог — муравья.

Слезы, кровь, разлуки, потери, ушедший и никогда более не вернувшийся к матери сын, муж, разлученный навеки с женой, друзья, потерявшие друг друга между Вологодой и Аральским морем — вот сегодняшняя Россия. «Знатный человек», А.Н. Толстой, отказывающийся прийти к Чапскому на чашку чая из боязни не потрефить МВД, и мальчишка, обливающий труп немца водой и потом, на замёрзшей кукле, съезжающий с ледяной горы, за неимением санок — вот сегодняшняя Россия. И понятны, и простительны слова ген. Андерса, которыми он отвечает на трагическую жалобу Чапского: «Что они сделали со всеми нашими?». Ген. Андерс в это время был занят переправой своих подчиненных в Иран, Ирак, Азию и Африку:

«Забудем всё... Простим... Надо думать о живых...»

Простим? Это было сказано за год до того, как была открыта Катынь.

Но вот солдаты и офицеры, дети, женщины уже в Мешедде. Две девочки-сёстры шепчутся в больничной палате, где одна из них лежит перевязанная после катастрофы, случившейся с грузовиком: «Когда я пришла в себя, — говорит больная, — я была уверена, что сейчас умру... Быстро я прочла «Аве Мария» и, — в этом месте голос ее звучит громче и полон слез, — я поблагодарила Бога, что умру здесь, а не в Советской России!»

Удивительно ли, что католик Чапский, после двух лет жизни в СССР, оказывается чувствителен к виду мечетей, к крику муэдзина? Он отвык от всего, что так или иначе говорит о высоком, о вечном. Удивительно ли, что он в последней главе своей книги «возвращает билет»?

Сохранена пунктуация оригинала.

Нина Николаевна Берберова (1901–1993) — с 1922 года жила в эмиграции, писала для эмигрантских газет в Праге, Берлине и Париже. С 1950 жила в США, преподавала в Йельском и Принстонском университетах. Публикуется с 1921 г., наиболее известна своей главной книгой автобиографической прозы «Курсив мой» (1969) и художественным исследованием «Люди и логи. Русские масоны XX столетия» (1986). В 1989 г. посетила Ленинград и Москву.

Наталья Горбаневская

«ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»

Перечитывая статьи Юзефа Чапского

Десять лет назад он сделал мне такую надпись на книгу «Гул и видения» («Tumult i widma»):

*Наташе Горбаневской с надеждой, что она заглянет
в те главы, где речь идет о России, которые я обозначил
крестиками.
С уважением и дружбой
Иосиф Чапский
21 X 81*

Я, конечно, не только «заглянула» в те главы — собственно, статьи, раньше печатавшиеся в основном в «Культуре», а теперь сложившиеся в удивительно цельную книгу. Кое-что (в частности, статью о Ремизове «Montagnes russes», поскольку как раз тогда выходила книга Ремизова «Учитель музыки») я сразу перевела и напечатала в «Русской мысли». Но к книге статей Чапского я возвращалась неоднократно, обнаружив, что России касаются не только «главы, обозначенные крестиком». Русская (российская⁵¹) тема возникает у Чапского на разных перекрестках личной судьбы автора (художника, писателя, офицера, публициста) и его размышлений, связанных с национальной польской судьбой. Не случайно так вышло, что еще один сборник статей Чапского, выпущенный в 1989 году в Варшаве (кстати, тем же издательством «Помост», которое потом печатало нам два номера «Континента»), получил название «Тайная свобода» («Swoboda tajemna»): крылатое блоковское слово вылетело на обложку из заглавия статьи «Блок и тайная свобода», хотя и в этом сборнике лишь небольшую часть статей можно было бы смело «обозначить крестиками» как целиком посвященные России или русской литературе.

Самая знаменитая книга Юзефа Чапского — конечно, «На бесчеловечной земле» («Na nieludzkiej ziemi»). (И вот еще задача для переводчика: достаточно ли точно переводится «нелюдская», «нечеловеческая» наиболее удобным «бесчеловечная»?) Я не знаю, но надеюсь, что эта книга уже поставлена в план какого-либо из российских издательств и переводится. Во всяком случае, тамошние эксперты по польской литературе

51 В польском языке одно слово — *rosyjski* — означает и «русский», и «российский». Отсюда — сложности для переводчиков и определенная произвольность перевода: в каждом случае приходится выбирать.

наверняка объяснят, если не объяснили уже, что эта книга — один из капитальных пропусков советского подцензурного книгоиздательства и что с отменой цензуры (стучу по дереву!) ее надо выпустить безотлагательно. Это кусок и нашей истории.

Напомню, что главный предмет книги — розыски почти пятнадцати тысяч пропавших без вести польских офицеров из лагерей в Козельске, Старобельске и Осташкове. Эти розыски командующий формировавшейся в СССР Польской армией генерал Владислав Андерс поручил ротмистру Юзефу Чапскому. Сам Чапский принадлежал к тем нескольким сотням офицеров, которые, по неясной игре судьбы, не стали жертвой массовых убийств: их вывезли не к месту уничтожения, а в другой лагерь.

Офицеры, которых держали в Козельском лагере (в Оптиной пустыни), «нашлись» уже после вывода польской армии с территории СССР — в замаскированных лесопосадкой братских могилах на территории Катынского леса. Сейчас, когда — 50 лет спустя после преступления! — советская сторона наконец-то сквозь зубы признала, что убийства совершены органами НКВД весной 1940 года (как было известно всем на свете — включая, смею заверить, и советских историков), а не гитлеровцами то ли летом, то ли осенью 41го (как десятилетиями твердила коммунистическая пропаганда), обнаружено, кажется, и место захоронения товарищей ротмистра Чапского по Старобельскому лагерю. Я говорю «кажется», потому что до сих пор (я пишу это в начале 91го года) не достигнуто соглашение о порядке проведения эксгумации и нет особых оснований доверять результатам вскрытия предполагаемых могил, если его будет проводить Харьковское УКГБ без участия польских экспертов, на котором настаивает прокуратура Польской Республики.

Книга на такую трагическую тему, написанная поляком, вполне могла бы остаться в рамках показа одной лишь «бесчеловечности» земли, где погибли эти тысячи польских офицеров — и еще сотни тысяч поляков, вывезенных в лагерь или на поселение. Но и в ней Чапский выходил за рамки только польской темы, показывая, как эта земля, эта страна бесчеловечна по отношению к своим гражданам. К их судьбе, судьбе людей, которых он встретил на «бесчеловечной земле», Юзеф Чапский возвращался неоднократно.

Православные люди сегодня либо рассеяны по всему свету, либо в России, в катакомбах. Я многого не мог написать об этом в моей книге. Я слишком боялся повредить случайно встреченным людям, но это факт. Не могу забыть и о плитах XVIII века, надгробных плитах русских монахов, на которых нам случалось сидеть в Грязовце, где под бледным вологодским небом стояли руины взорванной церкви и где 400 польских военнопленных пришли на место тысячи с лишним финских пленных, чтобы жить там два года за толстыми монастырскими стенами. Не смогу забыть ни ту девушку, которая таинственно показала мне крестик на шее, ни старушку, прятавшую обрывок бумаги с выведенными неумелой рукой словами предсмертной молитвы, которую православные там кладут на лицо в момент кончины вместо запрещенного отпевания. Не забуду и того полковника действующей армии, советского человека, который через десять минут после нашего знакомства говорил мне, как брату, о Русской Церкви в катакомбах, хотя знал, что мое неосторожное слово о том, что он рассказывал, было бы для него гибелью. В «Via dei Fiori» я описал судьбу нескольких русских монахинь, которые еще в 1941 или 1940

году страдали в лагерях, были судимы, а три из них приговорены к смерти, потому что ни одна, хоть всех морили голодом, не соглашалась работать на советскую власть, на «власть сатаны», как они говорили. Это было 24 года спустя после того, как власть в России захватила партия, которая всем, чем могла: убийствами и ссылкой, искусственно монтируемыми конкурентными «Церквями», — ликвидировала всякую религию — «опиум для народа».

(Прав ли был Маритен? —

...в сентябре 1941 года, когда я ехал по железной дороге из Вологды в приволжские степи, я второй раз наблюдал тот же феномен исчезновения магии, но уже советской, в каждом городе, в каждой деревне, через которые мы проезжали. Сталин тогда бросил на фронт большую часть НКВД. Советская армия миллионами сдавалась немцам. «Немец?! Пускай приходит! — кричали крестьянки. — Все наши деревенские, триста человек, пошли на фронт. Надели кресты на шею и все сдадутся». «Долой Сталина!» — слышал я повсюду. Еще сегодня у меня перед глазами стоит полный ужаса взгляд одного энкаведиста, который в присутствии новобранцев не смел себе на станции кипятку для чая налить. Глаза у него были, как у удиравших от толпы полицейских в 1917 году (в феврале. — Н.Г.). Надо было жить в России, чтобы знать, какой это был внезапный психический переворот. Эти люди ненавидели Сталина, но не знали, что их ждет: преступные, бессмысленные зверства, от которых погибнут миллионы людей, будут делом как раз тех, кого ожидали как избавителей. Только тогда Гитлер оказал свою величайшую услугу Сталину: он спас Сталина.

*(В Берлине об объединении Европы. —
«Культура», 1951, №9).*

В вышецитированной статье «Прав ли был Маритен?», споря отчасти с Маритеном, а еще больше с польским публицистом Вацлавом Збышевским, который выступил с резкой критикой только что вышедшей «Бесчеловечной земли», Юзеф Чапский писал о своей книге:

Речь идет об отношении к России. Оно у меня вовсе не отношение «изысканного» путешественника, полу-Пруста, поехавшего в Россию с экскурсией, а выражение позиций человека и поляка, который прожил в России много лет, ненавидит то, что в России постыдно, восхищается тем, что достойно восхищения. Только такое отношение представляется мне достойным известной польской традиции, доминирующей в польской словесности традиции Мицкевича, Норвида, Бжозовского и тысячи меньших. Той традиции, от которой мы уклониться не можем, ибо она нас обязывает, или же нам придется открыто перечеркнуть ее и бороться против нее.

И далее:

Не в том дело, люблю я Россию или ненавижу. Дело в том, что вычеркнуть ее из истории ни один поляк не сможет, что ее история, литература принадлежат

мировой культуре, что она имела и по сей день имеет огромное влияние на умственную формацию на Западе, вовсе не только негативное.

Утверждение: «Не в том дело, люблю я Россию или ненавижу», — и верно, и неверно. «Не в том», но и в том. Любовь ли заставляет познавать чужую страну и культуру, знание ли порождает любовь — во всяком случае, ненависть легко порождается агрессивным нежеланием знать, желанием отгородиться. Юзеф Чапский принадлежит к тому поколению поляков, которое не только родилось в границах Российской империи, но и воспитывалось в России, на русской культуре. Дважды в статьях он вспоминает, как впервые в возрасте с лишним лет ощутил свою принадлежность к культуре. Приведу отрывок из статьи «О Бжозовском» («Культура», 1963, №1-2).

Я открыл Бжозовского только в 1919 году в Кракове, после инкубации в России. Еще на школьной скамье в Петербурге русская литература, российская действительность были моими первыми интеллектуальными переживаниями, которые навсегда оставили на мне свой отпечаток⁵². В Бжозовском я с первой минуты обнаруживал ту же температуру мысли. В своих сочинениях он неоднократно пишет о том, скольким он обязан России; по его мнению, общественная мысль была глубже и Запада полнее и современной, чем в Польше. (Мицкевич писал то же самое о николаевской России в письмах к Одынцу).

Если я где-то ощущал, что к интеллектуальным вопросам относятся так, словно это вопросы жизни и смерти, то именно в России. <...>

Я приехал из России, пережив там две революции, первую из них, февральскую, — в Петрограде. Белые ночи того лета, в городе, полном головокружительных надежд и потрясений, где не было молока и сахара, но где площади до утра заполняли толпы людей всех сословий, которые часами, сгрудившись кучками, без криков, страстно-сосредоточенно спорили о том, есть Бог или нет, оправдана или нет какая бы то ни было собственность, о братстве людей, уничтожении всех границ, о новой справедливости. В том же Петербурге-Петрограде создавался первый Всероссийский совет рабочих и солдатских депутатов, а председатель его, социалист Церетели, только что выпущенный из царской тюрьмы, огласил призыв к солдатам всех воюющих держав, чтобы они сложили оружие и через горы трупов жуткой войны все побратались. Обрывок газеты с этим призывом я много месяцев носил с собой. Сегодня трудно понять, как тогда звучали эти слова братства, обращенные ко всему свету. Новая миллениарная надежда? Так случилось, что уже перед самой

52 Приведу все-таки небольшую цитату из другой статьи: «Школы в Петербурге, первые мощные литературные впечатления, но выходящие за пределы литературы, — Толстой, Достоевский (отнюдь не Мицкевич или Словацкий), потом революция и магия ее универсализма, даже когда я был против нее, — все это создавало во мне комплекс неполноценности поляка. (...) В тени Толстого, Достоевского, потом революции Польша для меня пахла какой-то провинциальностью в сравнении с Россией, титанической, жестокой, экстремистской и гениальной». — «Тот берег» и мои воспоминания («Культура», 1961, №5).

октябрьской революцией я присутствовал при двухчасовом драматическом рассказе Церетели о распаде всей власти под натиском большевистской партии. Уже тогда судьба России выглядела решенной.

Потом я еще два раза с поддельными документами возвращался в Петроград, уже после победившей Октябрьской революции. Но это уже были две зимы террора, расстрелов, переполненных тюрем, голода. (...)

Идя в глубину этой книги, я с упоением открывал то, чего Россия никогда мне дать не могла: моя дорога к идее человечества, прельстившая меня на Востоке, ведет через Польшу, ее развитием я не только не должен, но и не имею права пренебрегать. С помощью памфлета на Польшу, впавшую в детство, единственную, которую я до тех пор знал, я открывал другую Польшу. Мой комплекс неполноценности по отношению к великой родине Толстого, Достоевского и революции перестал существовать.

Через Бжозовского, вспоминает Юзеф Чапский, он увидел Мицкевича. Сквозь то немного, что написал Станислав Бжозовский о Норвиде, Чапский, совсем тогда не знавший этого великого поэта, «предошутил» его. Затем Циприан Камиль Норвид вошел в круг его постоянного чтения. Книгу писем Норвида ротмистр Чапский взял с собой, уходя на войну в сентябре 1939 года, она была с ним и в советском плену. Не знаю, с этим ли связано, только, обращаясь к письмам Норвида, Юзеф Чапский многократно подчеркивает нестандартность норвидовского подхода к России.

В разгар восстания в меморандуме Мерославскому и во многих письмах он <Норвид> призывает, чтобы мы помнили не только то, что отделяет нас от России, но и то, что нас с ней соединяет.

Он пишет, что «к словам москаль, к словам Москва привязывать отвращение — это разом и противоисторическая, и противополитическая деятельность», так как и в России, считал Норвид, мы должны искать и найти друзей, не осуждая ее огулом, именно тогда, когда мы против нее боремся. Что сказали бы сегодня о человеке, который высказывал бы такие истины и столь же резкими словами? Но понятие Польши и борьбы за Польшу у Норвида всегда было связано с тем, что он называл чувством человечества, и поэтому он нам сегодня так нужен: как тогда, так и сегодня он был бы ярким противником узких национализмов — катастрофы нашей эпохи.

*(Торжественное заседание и Норвид. —
«Культура», 1958, №12).*

К Норvidу обращается Чапский в статье, которая, пожалуй, наиболее полно выражает его кредо польско-русских отношений, — «Народность или исключительность?» («Культура», 1958, №9). Это одна из тех самых глав, «обозначенных крестиками», и я приведу ее здесь почти целиком.

...в разговорах со многими приезжими из Польши меня поражает жар, сила доведенной до крайнего раздражения травмированности Россией.

Милош в своей работе о Конраде показывает, как сходно было отношение Конрада к России и заурядное мнение шляхтича с восточных окраин Польши его времени. Как для этого английского писателя, давным-давно оторванного от Польши, так и для круга, откуда он был родом, Россия — это жестокий и злой мир, это, как писал еще отец Конрада Аполлон Коженевский, «государство, что посиживает, как домашний вор, на европейских правительствах».

И вот снова, после двадцати лет моей разлуки с Польшей, мне кажется, что антирусская настроенность сейчас даже сильнее, чем в те времена, когда ссылки и принесенные страдания выковывали мир чувств Конрада и формировали его мировоззрение. Сколько раз я слышу инстинктивный ответ на вопрос о России: «Я не знаю о ней ничего». Те же самые слова Конрад — автор «В глазах Запада», — который питал отвращение к Достоевскому (а все-таки однажды признал, что «Достоевский глубок как море»), который прожил детство в России, где в вологодской ссылке умерла его мать, написал Гарнетту: «Я не знаю о России ничего». Когда я слушаю рассказы людей, близкие которых погибли в России или из-за нее, когда они высказывают свое мнение о России, я чувствую, будто каждый из них прикасается к какой-то магической границе, пересечь которую он не в силах или не в состоянии, к границе, за которой взгляд на Россию, образ России более сложен и более справедлив. Это отношение сквозь призму «слез своих святых и проклятых» отрезает нас не только от России, но и от всего света, который видит Россию либо в цвете столь же упрощенном, т.е. розовом, либо же полной надежд и противоречий, глазами Достоевского.

Наш взгляд на страну, которая есть и будет нашим соседом, «ибо мы не окружены морем, как полуостров итальянский», встречно сталкивается со взглядом на Польшу, столь же упрощенным и наверное не менее враждебным. Кичливый лях (выделенное курсивом здесь и далее — по-русски в тексте. — НГ) Пушкина и разные полячишки Достоевского, гениальные карикатуры на польское лицемерие, польскую гордыню и патетическую фразеологию без покрытия, точно так же фальсифицируют и разрушают подлинный образ Польши в глазах миллионов русских.

Милош, цитируя самые антирусские высказывания Кюстина или Маркса, справедливо указывает, что то, что на Западе могло быть и было открытием, ибо так отличалось от принятых мнений о России, в польской литературе было банальностью (Милош говорит «стереотипом»), что такой взгляд на Россию шел еще от давней Речи Посполитой, где между Польшей и Россией нарастали комплексы «неполноценности — превосходства», и что все это не мешало шляхтичу с восточных окраин, который физически и душевно был Конраду близок, испытывать к русским симпатию; для него ведь не отдельные русские были виновны, а

*...героизм <верного раба>, такая смерть —
для пса заслуга, для человека грех⁵³.*

Но хранится ли в нашем сознании и другой аспект Мицкевича, друга русских?

*Вы — помните ль меня? Когда о братьях кровных,
Тех, чей удел — погост, изгнание и темница,
Скорблю — тогда в моих видениях укромных,
В родимой чередѣ встанут и ваши лица.⁵⁴*

Каждый, кто хоть несколько лет прожил в России, — читая это стихотворение, подставляет под него лица своих друзей, свои собственные прекрасные воспоминания о России и русских.

Кто слышит сегодня одинокий голос Норвида, его замечания о России, затерянные в довоенном, сегодня уже ставшем книжной редкостью, издании его писем? А именно Норвид, враг «патриотического пуританства», восстает против односторонних оценок, и речь его звучит жестко для каждого, кто подвержен тому стереотипу, которому даже Конрад подчинился и которому Норвид настолько не поддался, что не когда-нибудь, а в 1863-1864 годах напал даже на Мицкевича, считая, что он писатель не национальный, а только исключительный.

«—...Критическая бессознательность в сфере мысли, — писал Норвид. — В сфере трудов духа, и, значит, то же самое встретить можно в исторической действительности. Как исключительность Мицкевича назвали народностью и называют с воодушевлением, горячке подобным, ибо дискуссий не переносят, так и в действительности примут исключительность за народность. Как Духинский им резанет мощно: «Москаль — китаец», — то они порадуются, а как кто остережет, что сегодня: НАРОД СКЛАДЫВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ИЗ ДУХА, КОТОРЫМ РАЗНИТСЯ ОТ ДРУГИХ, НО И ИЗ ТОГО, ЧТО СОЕДИНЯЕТ и что нельзя вырубить под корень на 20 квадратных миль вокруг Польши, чтобы в ней был национальный поэт и национальный историк, то они на тебя плюнут — и тем впрямь поднимут сепаратизм врага, как уже сделали, и злобу врагов, пока до успешного исчезновения друзей не доведут. Всякий анахронизм всегда те же плоды приносит!»

«Только свободные люди, — пишет Норвид в другом письме, — только те, что не получили с колыбели железного клейма РАБЫ, знают, что, гранича с Россией, надобно в ней иметь СВОЮ ПАРТИЮ, ибо иначе всегда будут встречаться два МОНОЛИТА, ничего посредствующего не имеющие, а ежели два монолита столкнутся друг с другом, состоится уничтожение и разбиение сил окончательное».

53 Перевод дословный. Перевод В. Левика: «Такая смерть, терпение такое — / Геройство пса, но, право, не людское», — не передает некоторого оттенка мысли Мицкевича, важного в контексте статьи Чапского.

54 Перевод Анатолия Якобсона (впервые опубликован в «Континенте» №41).

Но мои пессимистические замечания о том, что мы окопались в польской *morale clause*, о неспособности объективировать наши обиды, — может быть, тоже односторонни.

Я видел и знаю не одного поляка, который в отклике на эти вопросы ближе к Норвиду, чем к «стереотипу», я знаю людей, которые прошли мучения и пытки, но на русских обиды не затаили, более того, которые, покидая Россию, прощались с ней в слезах, ибо встретили со стороны русских столько братства, столько сочувствия, ибо узнали людей, которые так же, как они, страдали и так же, как они, пытались бороться с насилием. Много ли таких поляков — я не знаю.

Тут я хочу прервать цитирование, чтобы поделиться одним своим наблюдением. За пятнадцать лет, что я живу в Париже, я повстречалась с огромным количеством поляков. Среди них, особенно среди эмиграции, было немало прошедших советские лагеря или ссылку. Кроме того, за эти годы я прочла бесконечное множество воспоминаний тех поляков, которые (чаще всего — благодаря амнистии 41-го) выжили в ГУЛАГе. Я не вела ни записей, ни статистики, но меня всегда поражало, насколько (чуть ли не на все сто процентов) отсутствуют антирусские чувства именно у этой категории поляков, пострадавших и, казалось бы, более других имевших право не отличать Россию от СССР, а винить всех чохом. Именно у них встречалась эта способность «пересечь магическую границу, за которой взгляд на Россию, образ России более сложен и более справедлив». Вероятно, срабатывало очень простое обстоятельство: они-то видели и в лагере, и на колхозной «воле», как страдают и погибают те, кто родился на «бесчеловечной земле». И для них, как для Чапского, она становилась «землей людей», землей этих страдающих людей.

Вернемся снова к статье «Национальность и исключительность».

Людей с таким отношением к России я встречал и среди поклонников русской литературы. Враги любой России — царской, советской или «республиканской», — даже они не отказывают в величии и глубине русской литературе, но перечеркивают эти органические связи, а ведь русский кошмар и русский гений, жестокость и милосердие, высочайшая, как нельзя более европейская культура и варварство — все это соединяется в одну действительность, и тот, кто это целое перечеркивает, тот, будь он даже Конрад, мыслит категориями не действительности, а фикции. Русская литература, общечеловеческого вклада и величия которой, пожалуй, уже никто, кроме В.А.Збышевского, не отрицает, связана с российской действительностью. Это элементарная истина.

В «Дневнике» Толстого за 1903 год есть черновик рассказа «Божье и человеческое»; именно этот черновик всегда представлялся мне образцом суровой и полной прозы, «безошибочной верности правде», как, кажется, сказал о Толстом Пастернак. Всего на пяти страницах Толстой дает образы приговоренного к повешенью врага всякого насилия молодого Светлогуба, службиста-генерала, который приговаривает его к смерти, матери осужденного, террориста, который мечтает об уничтожении тысяч людей, и мужика-сектанта,

который годами сидит по тюрьмам за то, что ищет правду. Весь вечный русский мир, ибо вечны конфликты этого рассказа: религия, свобода, насилие, фанатизм веры, любовь и самопожертвование. В одном московском издании Толстого есть описание того, как возник этот рассказ. Какая это, оказывается, абсолютная, едва-едва преображенная верность действительности. Герой рассказа, Светлогуб, — это повешенный в Одессе в семидесятые годы Лизогуб, сын русского дворянина и, вероятно, польки, урожденной Дунин-Борковской. Ткань этого рассказа так вросла в российскую действительность, что ее никоим образом не отделить. Это один из миллиона примеров того сплава литературы и действительности, которые можно было бы приводить и приводить.

Может ли такой образ России, исключительно жестокой и преступной, образ, который, пожалуй, нигде не получал такого всеобщего признания, как в странах, поглощенных Россией или Советским Союзом либо ему подчиненных, удивлять русских, хотя бы тех лучших среди них, что от сегодняшнего положения дел страдают не менее жестоко? Пропасть, вырытая между Россией и этими угнетенными странами, особенно Польшей и Венгрией, настолько глубока, что разрушить, преодолеть этот стократ более могущественный, чем прежде, стереотип, например в Польше, казалось бы прямо невозможным, если бы не одна мысль, одна истина, более чем когда-либо очевидная: свобода — одна, и террор, подавляющий всех, — один. Выход рабочих на улицы Берлина, познанские события, польский Октябрь, венгерское восстание, яростная, ожесточенная борьба внутри коммунистических партий всех стран после речи Хрущева на XX съезде — партий, «монолитных» только в речах их вождей, — все это останется трагическими, безнадежными жестами, если в эту борьбу не включится Россия, если не только польские, немецкие или венгерские рабочие, интеллигенты, крестьяне будут готовы бороться за этот старый, изодранный, переживший столько фальсификаций и злоупотреблений, но единственный лозунг свободы. Завеса «молчания страшнее, чем несчастье» покрывает Россию куда основательней, чем сто двадцать лет назад, когда Кюстин писал эти слова. Но мы знаем о бунте на Воркуте, знаем о бурлении в университетах и институтах, знаем о крайне антисоветских настроениях среди самого младшего из молодых поколений, политическое сознание которого формировалось в период XX съезда. Везде, хотя бы на самой узкой полоске, где появляется свобода мысли, свобода порождает свободу. Поэтому смотреть на Россию только как на страну, которая обладает «одним фанатизмом — послушанием», — взгляд, в силу своей односторонности ложный.

Толстой в «Воскресении» описывает молодую траву, которая по весне пытается пробиться даже среди тюремных камней. Без надежды, что и в России не угасла воля к борьбе, что и там можно добиться более свободной жизни, за которую погибло столько русских, все попытки либерализации, все ревизионистские попытки в странах советского блока выглядят лишь жестами отчаяния утопающих.

Только тогда люди, которые знают Россию не только как школу подлости, но и как мир борьбы и любви к человеку, только тогда эти друзья русских

смогут поднять голос и бороться с этим образом России, исключительно жестокой и исключительно бесчеловечной. Если удастся восстановить инстинкт утраченной солидарности с той другой Россией, которая никогда существовать не переставала, только тогда мы можем мечтать о будущем, которое не станет, как пишет Норвид, «столкновением двух монолитов, уничтожением и разбиением сил окончательным».

Норвид, а за ним и Чапский говорят о том, что Польше нужно иметь в России «свою партию». Но и России в Польше. Не ставленников, которых там держал безнациональный «Кремль», а «друзей русских», что очень трудно без наличия соответственно «русских друзей».

Сегодня это выглядит проще: выросли — воспитанные на «Культуре» и, в частности, на книгах и статьях Юзефа Чапского — несколько поколений наших друзей в Польше: пример «Солидарности» дал Польше друзей вплоть до российской глубинки, до Кузбасса и той самой Воркуты. Но если Юзеф Чапский говорит о том, как шли вразрез со всеми стереотипами мысли Норвида в 1863-1864 гг., то не надо думать, что в первые послевоенные десятилетия линию «Культуры», которую в отношении России я охарактеризовала бы как прорусскую (антисоветскую), массово понимали и принимали как в польской эмиграции, так и на родине. Понадобилось время и труд, чтобы позиция, которая поначалу многим казалась в лучшем случае парадоксальной, привилась и стала выглядеть нормальной.

Как все друзья пана Юзефа, я испытываю к нему безграничное уважение, любовь и нежность. Но еще и гордость: «моя партия» — не кто-нибудь, «моя партия» среди поляков (перечисляя от младшего к старшему) — Густав Герлинг-Грудзинский, Ежи Гедройц, Юзеф Чапский.

«Континент» № 68, 1991

Войцех Карпинский
ПОРТРЕТ ЧАПСКОГО
(отрывок)

Он поражал непосредственностью, проявлявшейся во всем, в том, как он жил, писал, рисовал, говорил, но в то же время он совмещал в себе множество персонажей и каждым из них был в полной мере. Художник, писатель, литературный и художественный критик, активист, публицист, солдат, «фандрайзер» парижской «Культуры», друг — он был, прежде всего, живым человеком. По-настоящему добрым, светлым, немедленно откликающимся на неправду, на шутку, на моменты восторга и моменты ужаса.

Он нырял с головой в разговор, в дискуссию, жил минутой и в то же время застыл в потоке времени. Память была одним из двигателей его деятельности, средством самоопределения в мире. Пустив корни в повседневности, умом и сердцем он пребывал в жизни духовной. Ему было необходимо иное измерение, он верил в то, что оно существует. Никто из тех, кому довелось столкнуться лично с Юзефом Чапским или с тем, что он создал, не усомнился бы в том, что эта потребность, эта ипостась в нем была. Он был живым свидетельством существования «иного мира». А ведь о вероисповедании или официальной стороне своей веры он говорил мало — он, который так ценил беседу, разговор по существу.

Также и внутренне он был скорее художником, чем философом: набрасывал эскизы интересующих его миров, не строя ни идеологии, ни системы. Себя самого и людей открывал не дедуктивным путем, не поддавался на шантаж умозрительности, и в этом была его сила; но при этом увлекался живой, критической, аналитической мыслью, и в этом тоже была его сила. Он стремился ловить мгновения реальности, был художником, боролся за новые горизонты для живописи и художников, в которых также видел путь постижения мира. «Во Франции никогда не было популярного в Польше стереотипа, что художник имеет право быть глупым» — написал он однажды с вызывающей иронией. Он не был глупым и работал над тем, чтобы не быть глупым. Он поражал конкретной и человеческой мудростью, которая не описывается жестокой и точной формулой Гомбровича «чем умнее, тем глупее», это не была мудрость умозрительная или институциональная, мудрость священников или философов. Это была мудрость его собственная, Юзефа Чапского, которую он сам добывал и развивал.

Говоря накрахмаленными словами чуждого ему ученого языка, можно было бы сказать, что он был сторонником идеографии, определения, описания и объяснения отдельных фактов, а не номологии, науки, занимающейся законами жизнедеятельности духа и тела. Он стремился дойти до сути переживания, зафиксировать смысл пережитого потрясения. Искал объяснения фактов. И тогда, когда старался найти нужное выражение для впечатления, которое произвела на него мгновенная игра света и красных бликов на чьем-то лице в кафе. И тогда, когда разыскивал нескольких пропавших без вести товарищей по оружию. И тогда, когда занимался поиском многих тысяч товарищей по неволе. И тогда, когда вступал в разговор с первым встречным, чтобы понять, что тот думает и чувствует. И тогда, когда открывал серую тетрадь и записывал ход мысли, набрасывая эскиз себя самого.

Говоря языком ему чуть более близким, но все еще далеким от его непосредственности, можно было бы сказать: он искал эпифании, охотился за мгновениями, в которых реальность открывается глазу, сердцу, телу, разуму — достаточно сосредоточенному, чтобы эти знаки распознать. Однако Чапский не верил в Божоявление на пустом месте. Наше постижение действительности происходит здесь и сейчас, на этой земле, сегодня, благодаря вчерашнему труду и с видом на завтра. Поэтому я сомневаюсь в родстве Чапского с Джойсом (хотя кто знает, его выбор «родственных» связей был так широк, что включал даже Беккета, еще более радикального в стремлении к катарсису). Он мог одновременно восхищаться Толстым — в поздние годы скорее Толстым-художником, чем моралистом, хотя и моралистом тоже — и Достоевским; Алешей, который верил и искал святости, и Иваном, который сгорал в бунтарском огне; Кирилловым и Шатовым; на Петра Верховенского он смотрел с ужасом, и только Ставрогин был для него бесконечно далек.

Увлекался ли Чапский Гоголем? Если да, то он вышел скорее из «Шинели», чем из «Носа» (откуда, по мнению ехидных критиков, вышел Набоков). Владимир Набоков был ему чужд, в этой семье он дружил с Сергеем и Николаем, но и в этом случае не был категоричен: несколько стихотворений Владимира, несколько его описаний, а особенно его любовь к русской культуре, к Пушкину, к слову и поэзии были Чапскому близки, хотя для бесед в тени деревьев на Елисейских полях (небесных, не парижских) Чапский и Набоков выбрали себе разных собеседников. Они уже ведут эти беседы, и оба вели их еще здесь, они были важны для обоих, были их средством существования во времени, в культуре. И все-таки друг с другом, я думаю, они разговаривают мало.

Разнообразие духовных связей Чапского отражает его богатство, или, скорее, обогащает его. Эти связи были для него необходимы, животворны. Он бунтовал, хотел самостоятельно строить свой внутренний мир, но не собирался начинать с нуля. Он не считал, что создает новую литературу, новую живопись. В этом также проявлялась его сила. Радикализму современного критического сознания он сочувствовал только до определенной степени. Живопись, как и роман, как и поэзия, не представлялись ему законченными. Искусство минувших эпох было для него живо. Его интересовали крайне скептические взгляды Поля Валери, нигилизм Чорана, в свое время он пережил увлечение Ницше, кризис выразительности, представленный в «Письме лорда Чандоса» Гофмансталя, воспринял как персональное послание, как письмо к себе

и о себе, но пришел он в итоге не к тотальной критике и молчанию. Современные яды не причиняли ему вреда. Почему? Из-за его страсти к прошлому, к жизни.

Чапский был фигурой исторической, что только усложняет ситуацию, потому что в то же время он был кем-то другим. Кем? Юзефом Чапским, Юзей не только для семьи и друзей, которых были сотни, но и для тех, кого коснулся луч его присутствия.

Кем он будет (есть)? Властью взгляда. Способностью называть людей, вещи, проблемы, открывать их формы, их взаимосвязи. У него был этот дар: словами и красками создавать портрет человека, пейзажа, мертвых и неподвижных предметов — и предметов движущихся, живых, групп людей во времени и пространстве.

Сквозь произведения Чапского, его картины, рисунки, эссе, книги я вижу — их, его, самого себя и других. Они восхищают меня не только тем, что вот передо мной точный образ или рисунок, живой рассказ о людях, вещах и проблемах; они учат смотреть и говорить, в том числе и тех, кто сам не собирается ни рисовать, ни писать. Они оживляют перед нами мир, оживляют нас, оживляют Чапского. Это не просто красивая фраза. Я знаю, о чем говорю. Я не пишу картин и не рисую, но полотна Чапского научили меня не только узнавать их среди картин других художников, но и узнавать потенциальные картины Чапского на станциях метро, в природе, в театре, в кафе. Его книги буквально учили меня говорить и думать о живописи. Созданные им словесные портреты людей и душевных состояний учили меня, хотя и не научили, улавливать образы людей и явлений.

Чем были и где теперь — вид зайца много лет назад, жест руки, которая тогда показала на него — спрашивал (когда-то) Милош в своем незабвенном стихотворении. Где боль, где радость, озарение, когда они возникают — мгновенные и застывшие во времени? Но если пойти дальше — что такое и где этот дар возбуждения таких состояний? Художники — индивидуумы, индивидуалисты, но они учат нас смотреть и говорить. Чей-то взгляд загорается при виде картины, хорошей или не очень, написанной столетия назад. Чей-то голос, жажда голоса пробуждается от звуков чьего-то живого голоса.

Я знаю, что, размышляя о Юзефе Чапском, о его поразительно интенсивном существовании, я задаю вопрос высшей канцелярии, доискиваюсь законов и объяснений, хотя так от этого открешиваюсь. Одно из особенно близких ему стихотворений — а поэзия была ему необходима, хотя сам он не писал стихов, но с ее помощью открывал мир, мир поэтов и свой собственный — стихотворение о том, что наша жизнь переплетается с другими жизнями, заканчивается словами, написанными как будто специально для него: «А мой удел — нечто большее, чем этой жизни утлый пламень или узкая лира»⁵⁵. Но эта лира, порой узкая, порой тяжелая, или палитра, или перо помогают нам понять, что наш удел есть нечто большее; это пламя, иногда утлое, иногда вспыхивающее множеством языков, но все-таки всегда имеющее свой предел, это внутреннее пламя говорит о большем уделе. Оно освещает, позволяет разглядеть, различить и назвать вещи, благодаря нему мы отбрасываем тень, живем. Некоторым

55 Стихотворение Гофманстала «Manche freilich...».

дано это пламя запечатлеть — словами, красками, последовательностью звуков. Некоторые могут передать те моменты, когда они видят ясно в восхищении.

Узкая лира, тяжелая лира, видеть ясно в восхищении — цитаты, аллюзии, продолжения, сфера французская, сфера немецкая, сфера русская, алмазные гвозди цитат, — я хватаюсь за них, чтобы как-то описать, что для меня значит его уход, его присутствие.

*

Я встретил его осенью 1965 года. Париж, уже не существующий теперь винный бар «La Reine Pédauque» (Под принцессой гусиной ножкой), улица La Repinière у вокзала Сен-Лазар, рядом с конторой Конгресса свободы культуры. Я пришел туда с Зигмунтом Херцем. Мы сели недалеко от входа. Через некоторое время Зигмунт посмотрел в глубину зала и сказал: «О, Юзя». Я разглядел за дальним столиком седого мужчину в толстых очках, склоненного над тетрадью, в которой он что-то черкал, забывшись и ни на кого не обращая внимания. Зигмунт подошел к нему и пригласил за наш стол. Чапский поначалу выглядел удивленным и как будто раздраженным, что его оторвали от интересного занятия, но тут же в глазах у него зажглась искорка любопытства. Он пришел, невероятно высокий, с довольно неловкими, резкими движениями. Тогда он показался мне одновременно очень старым (ему было под семьдесят) и очень бодрым. Сел. Тут же стал разговаривать с незнакомым студентом. Сначала мы говорили о книгах. Потом немного о живописи. На следующий день под дверью *chambre de bonne*, где я поселился у знакомых знакомых, лежало письмо от него. Почта как-то вычислила адрес. Сначала я решил, что текст совершенно невозможно прочесть. Но он просто требовал иного взгляда: постепенно я стал угадывать отдельные слова. Это было продолжение нашего разговора. Потом было много писем. Я писал из Польши в шестидесятых и семидесятых годах на адрес его французских друзей, а он иногда для конспирации писал по-французски, хотя его неповторимый почерк, если бы кто-то заинтересовался перепиской, был узнаваем в мгновение ока.

1996

Перевод Анастасии Векишиной

Леонид Трус

«Я ВЫРОС В ЗАМКЕ ГРАФА ЧАПСКОГО...»

Отрывки из интервью

Леонид Соломонович Трус, инженер-электрик, кандидат экономических наук, председатель Координационного совета Новосибирского областного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал».

Родился 19 ноября 1928 в Орше. С 1942 в эвакуации в Уфе: токарь на танковом заводе, монтажник на Уфимском телефонном заводе, в 1948 окончил вечернюю среднюю школу. Учился на энергетическом факультете Уральского политехнического института (УПИ) в Свердловске (1948-1952). Арестован 2 декабря 1952 по обвинению в «еврейском национализме» и «подготовке диверсии» на телефонном заводе в Уфе. По ст.58-8 УК РСФСР приговорен военным трибуналом к высшей мере наказания — расстрелу. В связи с указом об отмене смертной казни приговор заменен на 25 лет заключения в ИТЛ и 5 лет поражения в правах. В заключении — в Горлаге (Норильск), во 2-м лагерьном отделении Кайеркане. Работал грузчиком, шахтером. С 1955 — главный энергетик шахты. В феврале 1956 попал под поезд по дороге на работу, лишился одной ноги. Освобожден 17 июня 1956, восстановлен на 5-м курсе УПИ. С 1960 в Новосибирске, научный сотрудник Института экономики, преподаватель Новосибирского государственного университета. С 1988 в «Мемориале». Живет в Новосибирске.

Интервью записано 16 декабря 2006 в Москве для проекта «Польско-советские диссидентские и культурные связи и взаимовлияния», готовится к публикации в книге интервью Т. Косиновой «Последний польский миф».

У меня отец родом из Польши, из той части, которая в 1939-м стала называться «Западная Белоруссия». Недалеко от Белостока есть такое местечко, которое отец называл неправильно «Брянск». На самом деле это был польский Бранск. Незадолго перед войной, когда эта часть была присоединена к Советскому Союзу, меня отец туда возил к своей родне, показывал эти места.

В отрочестве и юности отец был плотником. Потом он окончил Белорусский государственный университет, стал историком, был партийным работником, школьным учителем. Он один из организаторов советской власти в своей деревне, в этом самом Бранске. Перед своей смертью он со стыдом об этом вспоминал. Во время гражданской войны, где-то в 1920 г., он был вынужден бежать на советскую территорию.

В результате он единственный из всей семьи получил высшее образование и сделал, что называется, блестящую карьеру — входил в номенклатуру ЦК белорусской компартии. Правда, мы при этом жили в Минске в двухкомнатной квартире с удобствами во дворе и без ванны. По счастью, в 1937 г. его не арестовали. В 1938-м только исключили из партии, и, видимо, все уже было на него заготовлено, но начались расстрелы внутри НКВД, потом была знаменитая бериевская «оттепель», таким образом отец уцелел. Перед самой войной возбудили дело о восстановлении отца в партии и даже сделали его заместителем директора школы. Но он решил, что хватит в эти игры играть, он даже скрывал, что был когда-то членом партии. На фронт ушел — никому не сказал, и вернулся — никому не сказал. В 1951 г. все-таки вспомнили, что его недорепрессировали, — арестовали и дали ему 25 лет⁵⁶...

Но вся остальная его родня — это ремесленники, еврейский пролетариат. И вот спустя два десятилетия он получил возможность с ними встретиться, показать сына и жену, которая так же, как и он, в то время была учителем. Наверное, все думали, что если «воссоединились», значит, теперь будут поездки друг к другу и нормальная человеческая жизнь. Но ничего из этого не получилось.

Это было летом 1940 года. Мы с мамой отдыхали на курорте в Друскининкае, и оттуда поехали в Бранск. Папа должен был подъехать позже. В поезде нас по мне кто-то опознал. Я был удивительно похож не столько на отца, сколько на его старшего брата. И впереди нас шла молва: приехал сын Соломона Труса.

Мы проезжали через Бельск. Его бомбили [в 1939] немцы, остались только одни развалины. Странно было смотреть, но не страшно: как-то всё аккуратненько, улицы чистые, и развалины поквартально прибраны и подчищены.

Я был ребенком, но всё равно было ощущение, что мы за границей. Во-первых, там сохранились остатки частной торговли. Помню великолепный костел в Белостоке — когда я смотрел на него, с меня шапка сваливалась. Речь вокруг была польская. Хотя в Белоруссии, где мы жили в то время, польская речь не была редкостью, но всё-таки. Там были другие отношения между людьми, совершенно другие дети.

В Бранске, насколько я помню, ничего всерьез не пострадало. Немцы там стояли всего несколько дней. Это черта оседлости. Несмотря на польское название, по-моему, Бранск в то время был заселен одними евреями, там было всего несколько белорусских или польских фамилий. По рассказам папиной родни, в 1939 г. немцы там никаких бесчинств не творили. Какой-то солдат подарил шоколадку моей двоюродной сестре. Другой, наоборот, пытался его одернуть: «Ты что?! Рузвельт — он же еврей, он виноват во второй мировой войне!» Но массовые расстрелы — это уже было потом, после 22 июня 1941 года. Там была очень большая родня по папиной линии. Уцелели из этой родни два человека: одного арестовали еще наши и выслали на Урал; а его сын, примерно мой ровесник, уцелел при бомбежке, убежал в лес и остался с партизанами. Вот и всё, все остальные были уничтожены, никого не осталось.

56 Соломон Трус был в заключении в Озерлаге (1951-1955).

Мой дед умер в 1939-м, как раз тогда, когда в Бранске стояли немцы, — он был глубоким стариком. Моя бабушка была еще жива. Но мое общение с нею и со всеми остальными было затруднено: все вокруг говорили на идише, а я еврейского так и не выучил.

Там было много моих двоюродных братьев и сестер, кто-то из них мог несколько слов сказать по-польски, на каком-то ломаном языке, но подлинного общения не было. Осталась в памяти только ангельской красоты моя двоюродная сестра, в которую я сразу же влюбился, и до сих пор вспоминаю, как о чуде, эту девочку. Ей тогда было примерно четыре годика. Как и все остальные, она была уничтожена. От всей этой поездки остались ее личико и чужая страна с необычным для меня поведением детей.

Когда я по привычке городского мальчишки стал кидать камни в каких-то гусей, меня остановили сами ребята. Кто-то из них сказал фразу по-польски, и смысл ее я все-таки понял: это же не твое имущество. Мне было так странно это слышать: причем тут вообще какие-то буржуазные слова? Мы были дикарями, конечно, совершенно оболваненными детьми. Всё время мысль о том, чтобы где-нибудь найти шпиона, поймать его и за это получить путевку в Артек, — такие пионерские мечты.

В детстве я очень много читал — очень много в детских масштабах. И это были книги, как-то связанные с поляками. Не всегда это было в выгодном для поляков свете: о том, как польские помещики угнетали белорусских крестьян, как они угнетали евреев.

Одно время отец был завучем курсов марксизма-ленинизма, это нечто вроде ВППШ (Высшей партийной школы) в белорусском варианте. Эти курсы располагались в замке графа Чапского, недалеко от Минска. Местечко называлось Прилуки. И хотя мы жили там всего два года, могу сказать, что я вырос в замке графа Чапского, меня окружали предметы польской культуры.

Там ничего не сохранилось, но сам-то замок оставался и долго питал мои мечты, какие-то фантазии. Я почему-то был уверен, что под этим замком есть подземный ход, в котором спрятаны какие-нибудь сокровища, какое-нибудь оружие. О чем мальчишки думают? О Чапских я ничего не знал. Хотя когда отец мне рассказывал какие-то сказки, в них фигурировали какие-нибудь графы или еще кто-нибудь.

На самом деле с семьей отца связана польская история. В 1863 г. папин дед, мой прадед, был мобилизован повстанцами-конфедератами вместе со своей лошадью. Он согласился помогать повстанцам, но сказал: «У меня жена беременная, вот-вот будет рожать, я не знаю, как ее оставить». Ему сказали: «Не беспокойся, вот графиня (отец всегда так и путался: то ли Замойская, то ли Потоцкая), она и побеспокоится о твоей жене». И эта не то Замойская, не то Потоцкая графиня принимала роды у моей прабабушки. А когда всё вроде успокоилось, дед, шапочник по ремеслу, стал поставщиком этих графов то ли Замойских, то ли Потоцких. Папа всегда не без гордости об этом рассказывал. И было много семейных легенд, связанных с этой графской семьей...

Но по-настоящему я как-то всем этим заинтересовался, когда произошло присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Даже моему детскому сознанию было совершенно ясно, что это по сговору с Гитлером. Мне никогда не нужно было открывать никакие секретные протоколы — это было очевидно. Всё случилось вдруг, в один день: вчера это были наши злейшие враги-фашисты, и мы — дети больше, чем взрослые, — выросли в атмосфере активного антифашизма. А тут вдруг они стали нашими «лучшими друзьями» — пакт о дружбе на вечные времена. И сразу же оказалось, что наши войска введены в эту самую Польшу с графьями то ли Потоцкими, то ли Замоискими. И это случилось в атмосфере «великой дружбы» и «любви». Все это мне не давало покоя вплоть до 22 июня. По глупости 22 июня 1941 г. я даже обрадовался: наконец-то кончилась дружба с фашистами! В этом смысле Польша стала каким-то ориентиром в жизни, способствовала пробуждению политического сознания, как это ни смешно звучит, у 13-14-летнего мальчишки.

Когда до нас дошли сведения о двух варшавских восстаниях — сначала в гетто, затем о Варшавском восстании, собственно польском, — в моем романтическом сознании оба этих события оставили неизгладимые впечатления. До сих пор я как-то очень живо на это откликаюсь и ни одну публикацию, которая оказывается в моем кругозоре, не пропускаю: мне интересно про это читать и узнавать все подробности. Тем более что во время Варшавского восстания рядом стояли советские войска, которые так и не пришли на помощь восставшим варшавянам. Тут какое-то чувство национального позора. Хотя теперь я понимаю, что ситуация была не такой однозначной, но куда денешься — всё равно это позор. Когда отец мне рассказывал про это после возвращения с фронта, он прямо сказал: «Дали растерзать поляков просто для того, чтобы польское лондонское правительство не приписало это восстание себе как заслугу». Для нас сомнения в этом не было. В 1937 г. он бы боялся говорить со мною открыто, но к тому времени, к 1945 г., он мог меня уже не бояться и очень многое мне рассказывал. Может быть, мы оба опять же неправильно понимали, но предательства с моей стороны или того, что я проболтаюсь, он мог не опасаться. Ведь у нас нигде об этом не писали и ничего не печатали. Позже стало известно о катынском расстреле. То есть тогда же еще, во время войны, была комиссия Бурденко. И хотя официальная советская версия говорила о том, что это сделали немцы, отец мне сказал, что он в этом не уверен. Уже в 1945 г. он не был уверен в том, что это сделали немцы, — просто из общих соображений.

Потом, в лагере, я слышал от людей, которые сами там не были, но жили на оккупированной территории и слышали немецкую версию, что это дело наших. Таким образом, бытовали две версии. Я, по правде сказать, долгое время всё-таки полагал, что это сделали немцы, мне как-то не верилось. О масштабах советских злодеяний в количественном плане мы знали, но чтобы совершенно ни в чем не повинных людей, возможных будущих союзников, без всякого повода, без предъявления каких бы то ни было, хотя бы лживых обвинений, взять и расстрелять — в это как-то не верилось. И потом всё-таки давили авторитетом: известный ученый Бурденко, Толстой туда приезжал... Мы доверяли тому, что было сказано. И официальная советская версия очень хорошо ложилась в общий контекст: немцы, Бабий Яр — почему бы им заодно не расстрелять польских офицеров. Но все-таки оставался червь сомнения, выявлялись факты расстрелов советской стороной своих заключенных. Так

что когда появились мало-мальски подтвержденные сведения о том, что всё-таки расстрел был произведен советской стороной, я легко уже в это поверил.

Папа много рассказывал, вернувшись с фронта. Не знаю, из каких сведений он это почерпнул, но он говорил о том, что поляки замечательно воевали в этой войне, героически. Поэтому интерес ко всему польскому у меня был с самого детства. И потом поговорка о том, что «Польша – это самый веселый барак социалистического лагеря», тоже в этот же костер добавляла огня.

Хотя я понимаю на самом деле, что не надо из поляков делать избранный народ, всякие люди есть и там, и тут, но у меня как-то сердце... все-таки соседи! Адам Мицкевич – это мой любимый поэт, один из моих любимых поэтов, так скажем осторожнее. И тост еще со времен незапамятных: «За нашу и вашу свободу!» – он всегда в моем сердце отзвук находил.

Когда я вернулся из лагеря в 1956 г., вскоре произошли известные события в Польше, а потом в Венгрии. Надо сказать, что Венгрия – очень далекая от нас страна, язык совершенно непонятный. И вдобавок там были какие-то кровавые события: там коммунистов за ноги подвешивали вниз головами, — в общем, контрреволюция. А Польша мало того что вообще как-то ближе, но то, что там происходило, было тогда очень близко моим социалистическим, коммунистическим убеждениям. Я помню, что отец просто с восхищением говорил: «В Польше сейчас настоящая рабочая власть устанавливается. Там же рабочие советы создаются...» Хотя он почти ничего не знал, так же как и я. Из наших, советских газет он что-то черпал и реконструировал то, что должно было бы быть по его собственному образу и понятию. Польшу он считал своей родиной. И с его слов у меня было к ней такое светлое отношение. Одной из самых моих любимых песен была «Варшавянка»...

2006

Беседу вела Татьяна Косинова

Петр Мицнер

ФИЛОСОФОВ И ЧАПСКИЕ

В декабре 1918 г. очень высокий, худой юноша бродил по Петрограду. Он был небрит, в грязной одежде. Свою миссию он считал законченной. Убедившись, что пятерых своих товарищей из Креховецкого уланского полка он уже не найдет, что их расстреляли, он ждал возможности вернуться в Варшаву, в Академию изящных искусств. У него были поддельные документы. На улицах можно было встретить пьяные патрули, такие, как из «Двенадцати» Блока, и даже Христа «в белом венчике из роз».

Он шел в гости на Сергиевскую улицу, в дом 83. Поднимаясь по лестнице, он внимательно глядел на двери. Увидел табличку с надписью «Мережковский». Юноша, конечно, читал его книги, в которых автор стремился примирить христианство и языческие традиции, читал его роман о Юлиане Отступнике и монографию о Леонардо да Винчи.

У двадцатидвухлетнего Юзефа Чапского, стоявшего перед дверью, за которой жил «триумvirат» (Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Философов), за плечами было решение уйти из армии (с точки зрения командования — дезертирство), несколько месяцев жизни в Петрограде вместе со своими сестрами Карлой и Марией и с братьями Марыльскими — Антонием и Эдвардом. Верой и примерной жизнью в согласии с Евангелием он жаждал внести гармонию в мир.

Чапский испытывал некоторую тревогу: в идее непротивостояния злу насилием, идее христианского анархизма, он был в высшей степени уверен, но ему не хватало противника.

«Я отважился и позвонил. Открыл сам Мережковский, словно какой-то жрец экзотической религии, в черном бархатном плаще с меховым воротником (это был плащ жены). В квартире холодно, нету угля» (М. Czapska. *Czas odmieniony*. Paryż, 1978).

В то же самое время Философов записывал в дневнике: «Ужина нет. Холодный самовар. Чай без сахара. Квартира не убрана. Чехлы. Навалены книги, брошюры. Неуютно. Зато у подъезда нет сыщиков. На улице не весело. Темнота. Безлюдье. Более богатые дома — стоят пустые. На Сергиевской почти все уехали. Кой-где редко-редко виден свет. Покинутый город. Мрачный, с испуганной душой» (Дмитрий Философов. Дневник. Публикация Б. Колоницкого // Звезда, 1992, №2).

Хозяин («хрупкий, седеющая бородка, светлые, широко раскрытые глаза с выражением детского доверия») впустил гостя, сел на стол и спросил, что его сюда привело.

Чапский начал без лишних вступлений:

— Я толстовец, не могу убивать, но как реагировать на то, что происходит в мире? Как примирить Евангелие и военное насилие?

— Зина, Зина! Это очень интересно! — оживился Мережковский.

Начался монолог писателя, убеждавшего молодого поляка, что нужно взять за мир ответственность, даже приняв на себя грех. Рассказал легенду о Касьяне и Николе.

«Оба шли на небо в белых одеждах вдоль грязной дороги и встретили мужика, который со своим волом увяз в этой грязи и звал на помощь. Касьян прошел мимо, а Никола не выдержал, помог вытащить телегу и весь перемазался. Так они дошли до неба. Святой Петр впустил их на суд Божий, а Бог сказал Касьяну: — У тебя одежды незапятнанные, и будет тебе праздник раз в год, да и то в високосный, значит, раз в четыре года, 29 февраля. А ты, Никола, забыв про свои одежды, спасал ближнего, поэтому у тебя будет праздник четыре раза в году» (М. Czapska, цит. соч.).

Мережковский задал Чапскому читать Достоевского, Ницше и Розанова — надо признать, довольно опасное чтение для юноши, до сих пор возраставшего на толстовском идеализме. И особенно Розанов принуждал отвергнуть простое «мировоззрение» в пользу нескончаемых поисков — поисков как истины, так и средств ее выражения. Дневники Чапского в каком-то смысле напоминают книги Розанова, включая цитаты из чужих текстов, переключку слова с образом, а главное — краткие записи, заключающие в себе мгновение.

Как святые из притчи, так и с трудом сближавшийся с христианством мистик Розанов с тех пор сопутствовали Чапскому до конца жизни. Но из тех троих, с кем он тогда познакомился, сопутствовал ему не сам Мережковский и не Гиппиус, а тот третий. Приходя на Сергиевскую через день, чтобы вести жаркие споры о рекомендованных ему авторах, о Боге и революции, Чапский в конце концов встретил Философова. Тот не был так склонен к разговорам о душе. «Он наблюдал за мной, — вспоминал Чапский, — и ставил конкретные вопросы: о Мицкевиче в Париже, о роли поляков в 1848 г., а я мало что мог ему рассказать, и он махнул на меня рукой» (М. Чапская, цит. соч.).

В январе 1919 г. Чапский уехал в Польшу. Через год он получил внезапную телеграмму из Минска: Философов, Мережковские и их секретарь Владимир Злобин бежали из России, перешли линию фронта и просят помощи. В ответ он послал письмо, полное восхищения Пилсудским. В середине февраля они приехали через Вильно в Варшаву, где Чапский снял для них комнаты в гостинице «Виктория» на Королевской улице. Мережковский читал лекции, Гиппиус боролась с пробуждающейся в ней привязанностью к Борису Савинкову, а Философов монтировал антибольшевицкое движение вместе с этим бывшим эсером-террористом, недавно

прибывшим в Польшу. В темных комнатах «Виктории» беженцы пили «черный, как ночь кофе, так чудесно раздобытый Юзефом Чапским, — мы пили и писали. Никто не уставал. Мы осознавали, что это были исторически кульминационные месяцы» (из дневника Д.Философова, 14-16 марта 1922, цит. по: Джон Стюарт Дюррант. По материалам архива Д.М.Философова // Лица. Биограф. альманах, вып.5, 1994). Благодаря Чапскому и Болеславу Веняве-Длугошовскому состоялась встреча Мережковского с Пилсудским.

В разговорах с Чапским Философов, разумеется, делал замечания просветительского характера. Ученик так хорошо их запомнил, что почти сорок лет спустя процитировал в очерке об Августе Замойском: «Я постоянно читаю ваши газеты, и меня одно поражает: в них почти нет литературных аллюзий или цитат, как будто у вас вовсе нет литературы, — кроме одной-единственной цитаты, которую зато повторяют до изнеможения: „Не время думать о розах, когда пылают леса”» (J.Czapski. Rozproszone. Teksty z lat 1925-1988. Warszawa, 2005).

Положение четверых русских беженцев в Варшаве было шатким, особенно когда в мае 1920 г. началось советское наступление. Чапский («милый Чапский», как пишет в своем дневнике Гиппиус) предложил им поехать в имение Морды на Подлесье, к Пшевлоцким (сестра Юзефа Карла недавно вышла замуж за Генрика Пшевлоцкого). Он прибавил, что сирень уже цветет. Мережковский был счастлив: «Какая роскошь, там соловьи». Философов отреагировал резко, вскочил и со слезами на глазах воскликнул: «Не хочу никаких соловьев и никакой сирени, слишком много крови я видел в России» (J.Czapski. Wyrwane strony... Запись от 8 июля 1965). Чапский не ожидал такой вспышки от человека, как ему казалось, уравновешенного, даже холодного. «В этот момент я его полюбил, за эту мгновенную реакцию», — вспоминал он (J.Czapski. Świat w moich oczach. Rozmowy przeprowadził P.Łódczowski. Ząbki—Paris, 2001). Философов остался в Варшаве, «на ночном столике у него всегда лежал яд» (там же). Он бывал с Савинковым, а потом и один в Бельведере на долгих совещаниях. Чапскому он рассказывал: «Мы пили ночью крепкий чай, в окна видели старые деревья, вокруг была полная тишина, как в старом поместье» (Цит. по: J.Czapski. Czy list Lenina? // J.Czapski. Rozproszone...).

Трое гостей в Мордах были, кстати, довольно докучливы. Мережковский, как только вошел, принялся переставлять мебель, организуя пространство по собственным замыслам и потребностям. Между тем за окнами перекачивался фронт, а Карла ждала первого ребенка. Они оставались там несколько недель, писали брошюры. «Вся семья Чапского, его сестры — это особая прелесть», — записала Гиппиус (З.Гиппиус. Собрание сочинений. Т.9. Дневники. 1919-1941. Публицистика. Воспоминания современников. М., 2005).

После подписания польско-советского мирного договора Мережковские со Злобиным уехали в Париж, обиженные на Пилсудского за то, что он прервал крестовый поход против большевиков. Предал. «Нет, этого паука мне не проглотить», — говорил Дмитрий Сергеевич (J.Czapski. Mereżkowscy i Filozofowie w Polsce. Monolog zapisany przez A.Mietkowskiego // Puls, 1993, №1.).

Философов ненадолго уехал из Варшавы. Из Югославии он писал Чапскому, что в Польше он по крайней мере делал «то, что хотел, а не то, чего ему хотелось». Поэтому вернулся, как только это стало возможно, и вместе с Савинковым взялся издавать газету. Она называлась «За Свободу!». «Сто раз предпочел бы иметь дело с Чапским, а тут надо заниматься политикой, и приходится с Савинковым» (J.Czapski. Wspomnienia). Не кому иному, как Чапскому, доверит Философов редакционную тайну: опубликованное в 1921 г. в его газете анонимное письмо большевика эмигранту, свидетельствующее о кризисе революции, — это перехваченное частное письмо Ленина. Чапский же стал свидетелем подавляемого «расслабления», которого так старался избежать Дмитрий Владимирович. Он много раз вспоминал эту сцену, но наиболее полно описал ее в дневнике в 1965 г., когда ему попало в руки стихотворение Осипа Мандельштама:

*Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает.
О, если ты звезда, — Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает*

В стихотворении, написанном в 1918 г. (тогда, когда Чапский постучался в дверь квартиры на Сергиевской), есть и голодающий, изнасилованный город, и обрывок поэтической легенды — зеленая звезда из стихов Александра Блока: «И ангел поднял в высоту / Звезду зеленую одну». Но и варшавские обстоятельства прочтения незаурядны: «Сколько уже лет назад читал мне это Димка на Сенной в Варшаве! Вижу его в его крохотной комнате, на старом просиженном диване, под свисающей с потолка лампочкой (1923 год?), после целого дня тяжелого труда в редакции. И это стихотворение перед ним на столе. Оно дошло тогда к нему из России нелегальным путем. Еще вижу его подавляемое волнение, голубые, почти белые глаза, и слушаю эти стихи с четырехкратным повтором: „Твой брат, Петрополь, умирает“» (J.Czapski. Wyrwane strony. Запись от 8 июля 1965).

В 1924 г. Савинков перешел границу советской России, был схвачен и посажен. В тюрьме он покончил с собой. Чапский тогда уже был в Париже с группой товарищей-художников, вскоре к нему должна была присоединиться сестра Марыня. Перед выездом он успел опубликовать в «За свободу!» свое первое эссе (Ю.Чапский. О Молодой Польше // За свободу!, 1923, №3. Перепечатка: Новая Польша, 2008, №9) — о Выспяньском и Бжозовском, где, памятуя разговор трехлетней давности, процитировал «Лилию Венеду» Словацкого: «Не время думать о розах...»

Из Парижа в Варшаву и обратно шли письма, до нас не дошедшие. До войны их собралось несколько сот. Философов также каждую неделю высылал Чапскому газеты и вырезки, чтобы тот не терял контакта с польской действительностью. Он очень уговаривал обоих ехать в Париж (Марыня получила стипендию на изучение Мицкевича), дал рекомендательные письма (в частности к Алексею Михайловичу Ремизову, о котором Чапский написал много лет спустя), но, когда они уже были там, он волновался, как бы они не остались в эмиграции, и советовал не погружаться в русскую среду. «Вам повезло, у вас свободная страна», — напоминал он. Это в меру деликатная форма его навязчивого страха, который не раз выражался

в кассандровских предсказаниях гибели свободной Польши, в критике легкомыслия ее верхов, в уважении к институту с трудом построенного государства. Он предостерегал, что Речь Посполитая может стать «придатком Советской России, притом придатком отнюдь не чрезвычайным» (M.Czapska. Pamiętniki Wacława Lednickiego (1963) // M.Czapska. Ostatnie odwiedziny i inne szkice. Warszawa, 2006). Мария Чапская вспоминает, что они с пренебрежением относились к этим пророчествам. «Кассандра! — говорили мы. — Пессимист».

Напоминания, выговоры. Печальные воспитательные методы применял Дмитрий Владимирович, но Чапские смиренно их принимали; он до конца остался для них обоим «учителем»⁵⁷, самым главным из тех, кого они встретили в жизни, тем, кто учил, как быть самим собой, не впадая в эгоизм.

В 1928 г. Чапский опубликовал в «Вядомостях литерацких» призыв создать Товарищество имени Станислава Бжозовского, с тем чтобы издавать его сочинения. Из этого ничего не вышло. «Думаешь, так защищают память писателя? — говорил Философов. Написал три слова и снова уезжаешь в Париж?» (J.Czapski. O Stanisławie Brzozowskim (1963) // J.Czapski. Patrząc. Kraków, 1983).

Философов жаловался на отсутствие религиозной мысли в Польше, но, с другой стороны, не споры (как в петербургские времена) казались ему важнее всего, а просто глубокая религиозная практика. Чапского он упрекал в том, что тот читает мистиков, когда «мистику надо *делать*, а не *читать* о ней» (J.Czapski, Wyrwane strony. Запись от 27 мая 1965). Марыня, по его мнению, с одной стороны, ограничена разумом, который не позволяет ей верить в церковные догмы, а с другой — поддается иррациональным склонностям, верит в лекарственную силу травок и березового чая. Он делал ей выговоры и как литератору, указывая фактические ошибки, а главное — поэтичность в стиле Марии Родзевич. Хотел же он вырастить ее трудолюбивой пчелкой, одновременно утверждая, что она должна отбросить научные претензии, потому что для науки она слишком наивна.

Войцех Карпинский в «Портрете Чапского» пишет, что история помогла Юзефу справиться с балластом семейных традиций. Этот балласт тревожил и Философова. В тридцатые годы он считал, что Марыне это удалось не до конца, что гены баронов Мейендорфов по-прежнему определяют ее кругозор. У него самого был схожий опыт, давным-давно ему пришлось преодолеть не только дух отца — главного военного прокурора, но и противоречие, существовавшее между родителями. Мать его была первой русской феминисткой и демократкой, у нее в салоне бывали писатели, например Достоевский, а в то же время те, кого приглашал ее муж. Много лет спустя Дмитрий Владимирович вспоминал: «Мне приходилось встречать людей после многолетней тюрьмы. Она накладывает на своих клиентов (я говорю, конечно, о политических) особый отпечаток. Что-то от „zakonników” [монахов]. Размеренные движения, отсутствие торопливости» (Д.Философов — З.Добровольской. Отвоцк, 10 июля 1937. Из собрания Божены Микуловской).

⁵⁷ Так писал Юзеф Чапский Ежи Тимошевичу (1986). См. J.Timoszewicz. Filosofov — Czapski — Stępow-ski // Kultura, 1998, №4.

Философов ставил перед Марыней и Юзефом трудные задачи. Тем не менее, как он писал Марии Домбrowsкой, он считал, что «Чапские материал очень хороший, и стоит над ним работать. В них есть большая доля наивности, но эта наивность порядка, так сказать, „гениального“, а не от дефекта ума. Это наивность детской доверчивости, вообще детской непосредственности. Они способны поехать убеждать папу римского, чтобы он переехал в Прушков, а Сталина, чтобы закрыл Г.П.У. Но ведь это проделывал Мицкевич, это же было у Жеромского, несмотря на всю его суровость. Их высокий внутренний аристократизм, их потрясающая бесребренность (живут как птицы небесные!), их свобода от „конвенциональностей“ [условностей] меня преисполняют к ним глубоким уважением. В них есть какая-то „серафичность“ Франциска Ассизского. Я, как-никак, эмигрант, а им нужны поляки. А в Польше им очень трудно найти подходящих поляков. Недаром они прожили 5 лет в Париже!» (Явоже, 12 сент. 1930. Особое собрание Библиотеки Варшавского университета).

Можно сказать, что в тридцатые годы Чапский был одним из ближайших сотрудников Философова. Мы знаем, что он исполнял роль связного между Дмитрием Владимировичем и Марианом Здоховским, а насколько существенен был диалог этих двух мыслителей, свидетельствуют недавно опубликованные письма (Здоховский — Философову // Новая Польша, 2008, №10). 12 сентября Чапский делал доклад в Литературном содружестве, И. как можно судить по обширному отчету в «За Свободу!» (1931, 15 дек.), учителю доклад пришелся по вкусу.

Встречи Литературного содружества, на которых бывали польские писатели, стали своего рода предисловием к вечерам в «Домике в Коломне», более элитарном польско-русском клубе. Он действовал по инициативе Философова с 3 ноября 1934 до февраля 1936 года. В состав «руководства» входил Чапский, он же прочитал там первый доклад — «Башня из слоновой кости и улица». Притом это было сразу после выговора, который он получил от Философова в связи с «Газетой артистов» («Газетой художников»). В августе 1934 г. вышел напечатанный на ротаторе анонс будущей газеты без указания состава редакции.

Передо мной лежит экземпляр (из собрания Божены Миколовской) с адресованными Марии Чапской приписками от брата и от художника Яна Цибиса. Первый уговаривает ее написать «кусачую статью», а Цибис называет журнал «скорострельной пушкой». И все эти залихватские похвалы вместе с довольно туманной программой попали в руки Философову. Его письмо Чапскому по этому поводу состоит из двух частей: одна названа «Удивление», вторая — «Огорчение». В первой части он, в частности, пишет: «Я привык думать, что „chłорсу“, как ты выражаешься (не забудь, им 40 лет) относятся с уважением к своему творчеству, к искусству, к художнику, к живописи. Ян очень строг в этой области, и честно относится к своей работе живописца. Почему же такое нечестное отношение к Слову, к мысли, к общественной работе? Почему написать „два яблока с грушей“ требует известного „аскетизма“, громадной работы, „мук творчества“, а издавать журнал — можно с легкостью, а писать программу можно „сняв штаны“?»

Последние слова — намек на какую-то недавнюю компанейско-художническую эскападу с участием «хлопцев», во время которой Тадеуш Потворовский

публично снял штаны. Дальше, в части «Огорчение», Философов насмехается над содержанием проекта: «Что значит „krytyczny obraz ruchu artyst. i umysłowego współcz. życia” [критическая картина художественного и умственного движения современной жизни]? Кто будет критиковать и с какой точки зрения? Оказывается единственный критерий — это молодость! Кто молод, тот имеет право бороться „с сервизмом” и „ложными авторитетами”. Больше того, право ругаться предоставлено каждому, „niezależnie od kierunków i sympatii artystycznych” [независимо от художественных течений и симпатий]. Кто не знает вас, может подумать, что это pismo [периодическое издание] основано специально для „шантажирования”. Помню в Monte-Carlo каждый месяц выходил какой-нибудь „niezależny” [независимый] орган, такой же анонимный, как и „Gaz. Art.” [„Газета художников”], где „разоблачались” дела Casino и где приглашались все желающие рулетку разоблачать ее „гризонным” [кусачим, прав. «грызонным»] образом».

Письмо это отправитель сохранил, не послал, что случалось с ним нередко — он упоминает об этом в переписке с Гиппиус, констатируя, что нервы не выдержали, преувеличил из злорадства. Он знал, каков он есть, раз называл себя (по-польски) «хроническим недовольным». Вдобавок видно, что к старости авангард перестал его интересовать и он, вероятно, не следил за дальнейшей судьбой «Газеты артистов», журнальчика весьма любопытного, но — и тут у Философова была бы причина разъяриться — иногда крайне просоветского.

Неотправленным осталось и письмо от 2 марта 1935 г., куда более личное. Чапский был тогда в Париже, готовил книгу о Юзефе Панкевиче, вернее — об искусстве в целом через взгляды и личность художника.

«Ты жаловался, что ходя с ним (Панкевичем) по Лувру, слушая его суждения о чуждых тебе художниках, ты теряешь связь с ним, не переживаешь, и вообще исчезает чувство интимности, ибо господствует мозг. Кроме того, ты заявил, что хочешь ехать в Италию „варваром” без культурной подготовки.

Я тогда же ответил тебе, что это меня огорчает, и пояснил почему.

В последнем письме ты мне не писал, что согласился с Панк., что XIX век действительно не на высоте и что, вернувшись домой, ты начнешь работать иначе и т.д.

И я опять огорчился. И понятно почему. В обоих случаях проявляется то же опасное свойство: пассивность (galareta! [студень]). Именно из-за этой пассивности, wrażliwości [чувствительности, впечатлительности] я и называю тебя zdrajcą [предателем].

Подумав эти дни над этой проблемой, я пришел к некоторым формулам, о чем и хочу с тобой поделиться.

По существу, «переживания» и wrażliwość вещи «нейтральные». Опасность начинается тогда, когда эти переживания и wrażliwość не только вступают в борьбу с сознанием, но и побеждают его.

Ты делаешь всегда ту же самую ошибку. Ты „переключаешь” свои пассивные переживания в психологию, а не в рассудок, во впечатления, а не в сознание. Ты напрасно не пользуешься уроками, которые дает Марыня. В ней твой недостаток, твой *pałóg* [порок] принимает форму опасной болезни. Она все время „переживает”, и этими переживаниями хочет купить право на отказ от сознания.

Что же касается тебя, то вот тебе пример опасности переключения всех впечатлений на „психологию”. Я тебе написал, что доклад Стемповского был очень интересен. Ты с удивлением меня спрашиваешь, как это так я согласился с Jerzykom [Ежик — уменьшит. от Ежи]! А вместе с тем, я десяtkи раз говорил тебе о том, что надо ценить и то, что тебе чуждо (помнишь, я тебе говорил, что я подчеркиваю в книге то, что характерно для автора, а ты лишь то, что соответствует твоим переживаниям)» (из собрания Божены Мikuловской).

В этом вопросе Чапский не дал себя переубедить, о чем свидетельствует его собрание цитат — как он их называл, «золотых гвоздей».

Дальше Философов пишет об обоих Чапских:

«Ты не только не борешься с тенденцией Марыни убежать от сознания, но наоборот, поощряешь ее в этом, и приносишь ей большой вред. Когда ты ей написал, что благодаря Панкевичу не имел в Лувре „переживаний”, она прямо воспряла. Начала мне объяснять, что поэтому именно она не может читать статей Бродзинского и Мохнацкого о романтизме („Нет переживаний!!”). А вот когда она стала (якобы!) более интимной с Людвикой Снядецкой, она начала понимать, что такое романтизм. „Мы всегда начинали с конкретного!” Во время твоего отсутствия она всегда говорит „мы”. Иногда я ее спрашиваю, кто это мы?»

Марии Чапской предстояло переводить на польский его статьи для запланированного, но не вышедшего избранного (машинопись, по всей вероятности, пропала во время войны), вносить деньги на счет «За Свободу!» и ее продолжения — «Меча»; брат и сестра Чапские бывали у Философова в последние годы его жизни в санатории «Викторовка» в Отвоцке. С начала войны — уже одна Мария. Сохранилась ее записка по-французски, которую она ему оставила, выходя (видно, он задремал): «Très cher — Je pars à 9 h et ¼ et te dis au revoir par écrit et baisant tes mains [Дорогой — Я ухожу в 9¼ и прощаюсь с тобой письменно и целую тебе руки]» (из собрания Божены Мikuловской). Записка датирована 10 июня 1940-го. Тяжело больной Философов поправил «10» на «9», дописал заглавное «М» с восклицательным и вопросительным знаками. Ну да, Марыня опять что-то напутала...

Два года спустя она же взяла принадлежавший некогда ему, православному, римский молитвенник и, пользуясь поддельным пропуском, отнесла его в гетто Корчаку, который просил ее об этом, так как хотел провести богослужение для детей. После войны Мария Чапская ускользнула из Польши и присоединилась к брату. Писала она всё лучше и лучше, иногда даже сочиняя довольно «кусачие» статьи; в одной из них — «Как не следует писать о святых» — мы находим откровенные реминисценции текстов Философова: «Как надо писать биографии» и «Как не надо учить культуре».

В кругу парижской «Культуры» окажутся целых четверо учеников Философова: Чапские, Ежи Гедройц и самый непослушный из них — Ежи Стемповский.

*

Кто это мы?

Вопрос, который задал Дмитрий Философов. Вопрос, который в числе прочих мог одолевать Чапского в лагере, в армии, в Мезон-Лаффите. Вопрос, который возвращается к нам, когда мы читаем то, что осталось записанным от встреч Философова с Чапскими.

Кто это мы?

2010

Перевод Натальи Горбаневской

Томаш Фиалковский

ЖИЗНЬ И МИЛОСТЬ

«Вырванные страницы» Юзефа Чапского⁵⁸ — необычайная книга. Она написана в нервном ритме, под которым чувствуется внутренний пыл, в совершенно своем собственном, опознаваемом стиле. Она — как разговор, рассеянный на множество клубков, который, однако, всё время возвращается к существу, открывает суть дела, вокруг которого шел кругами, бросает на него широкий луч света.

Немногим дано так интенсивно, зачастую болезненно воспринимать мир, быть способным как сострадать, так и расчислять свои желания и эмоции, ставить себе самые высокие требования. Читая «Вырванные страницы», возвращаясь к некоторым поразительно сильным фрагментам и предложениям, мы ощущаем живое присутствие автора, слышим его проникновенный, взволнованный голос. Только отвернуться от книги — и мы увидим худую, готическую фигуру на узкой постели в комнате на чердаке дома в Мезон-Лафите. Над постелью — полка, а на ней — ряд переплетенных в серые обложки тетрадей. Это легендарные дневники.

Юзеф Чапский (1896-1993) вел дневник с ранней молодости. Собрание довоенных записок пропало в Варшаве во время оккупации, но и то в краковском Национальном музее находятся 274 тетради. Иногда он возвращался к более ранним записям, дописывая замечания. Ну и дополнял дневник рисунками. «Он рисовал карандашом или цветными мелками, — пишет Барбара Торунчик, — и часто окружал рисунки серпантином комментариев, связанных с наброском, запланированной картиной, запомнившимся образом, его красками. В тетради он также вклеивал статьи из газет, полученные письма или их фрагменты. Переписывал цитаты из прочтенных книг и любимых стихов».

Рукописные заметки трудно прочитать не только из-за «иероглифического» почерка Чапского. «В них переплетаются языки, которыми он владел: польский, французский, немецкий, русский; имена, фамильярные уменьшительные и инициалы разных лиц, а также целые обороты, которые заставляли его задуматься или поражали трудностью, взятые из чужих писем, дневников, исповедей». Одновременно же хроникерский слой, где отмечаются встречи, художественные события, новые книги, успехи в его собственном труде, даже сны, бывает прошит воспоминаниями, размышлениями, медитациями, настоящим «дневником души».

58 Варшава: Зешиты литератураке, 2010. 314 с. Послесловие издателя, примечания, именной указатель. — На польск. яз.

Я верю, что мы дождемся издания, включающего как факсимиле всех страниц дневника, так и расшифрованный и откомментированный текст. «Вывранные страницы», которые сам Чапский постепенно отдавал в печать, — это нечто иное. В них сохраняется личный тон, атмосфера непосредственности и некоторая несистематичность, однако это выборка, перекомпонованная и пополненная. Готовя первую такую выборку для «Культуры», Чапский писал: «После долгих колебаний я решаюсь печатать страницы, вырванные из целого, иногда пополняя их некоторыми подробностями, которых не успел записать, или ныне написанными вставками». Потом были следующие публикации в «Культуре», подпольной «Республике» и «Зешитах литератцких», а затем два книжных издания.

Нынешнее издание, подготовленное Барбарой Торунчик, значительно отличается от предыдущих. В нем несколько изменена общая композиция и везде, где только можно, восстановлен первоначальный текст Чапского на основе авторских машинописей с ликвидацией редакционных поправок и сокращений В томе нет также, в согласии с волей Чапского, никаких иллюстраций; «торжествует его искусство слова». Зато добавлены обширные примечания, занимающие 50 страниц, — необходимый путеводитель по этой увлекательной чаще мыслей, чувств, воспоминаний.

Это дневник художника, постоянно возвращающегося к размышлениям о смысле своего труда, о его связи с внутренней жизнью. И дневник духовного максималиста, влюбленного в Симону Вейль, но иногда бунтующего против ее суждений. «Это ежедневное отстраивание мира, который ты накануне полностью утратил, чтобы снова в себе этот мир потерять (по своей вине?), но это постоянно то же самое, эта вина смешана с самой жизнью, с людьми, с самим вхождением в людей... Однако помнить, что должна быть во мне одна господствующая цель — эти минуты возврата к жизни через милость попытаться унести в себе и защитить среди толпы этот огонек».

2010

Перевод Натальи Горбаневской

Татьяна Косинова

ПЕТЕРБУРГ В БИОГРАФИИ ЮЗЕФА ЧАПСКОГО: ФАКТЫ И УМОЛЧАНИЯ

Доклад на IX международных биографических чтениях «Право на имя. Биографика XX века» памяти Вениамина Иофе, Санкт-Петербург, 20-22 апреля 2011

Петербургский период жизни известного польского художника и писателя Юзефа Чапского (1896-1993) до сих пор описан лишь по биографической прозе самого Чапского и его сестры Марии⁵⁹. Автор первых мемуаров о катынском преступлении⁶⁰, польский военнопленный и узник Старобельского лагеря, — сегодня Чапский известен в России прежде всего как адресат стихотворения Анны Ахматовой «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума...» (1959, цикл «Ташкентские тетради»).

Судя по фрагментарности и лаконичности описания своего отрочества и юности в Петербурге-Петрограде, Юзеф Чапский никогда не был «ревнивым хранителем точных фактов»⁶¹, редко фиксировал даты своей биографии и не питал интереса к генеалогии. Вслед за Норвидом он повторял: «Pisać można tylko procent od życia i czupów»⁶². Из мемуарных текстов нам доступна лишь общая канва первого двадцатилетия его жизни, упоминания некоторых имен и весьма малочисленные эпизоды, описанные в нескольких эссе⁶³, связанные, как правило, с духовными переживаниями или с прочитанным.

Из мемуаров известно, что в начале 1910-х Юзефа и его младшего брата Станислава отправили на учебу в Петербург под опекой их учителя Вацлава Ивановского. Юзеф и Стас учились в 12-й петербургской гимназии; после ее окончания Юзеф

59 Главным образом, в: Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi (1949); Wyrwane strony (1993); Maria Czapska. Europa w rodzinie, Czas odmieniony.

60 Wspomnienia starobielskie (Рим, 1944), Na nieludzkiej ziemi (Париж, 1949).

61 Цит. по: Юзеф Чапский. Об Анне Ахматовой. //Человек и место. Юзеф Чапский. К 100-летию со дня рождения (Каталог выставки на русском языке). Краков, 1996. Пер. С.Свяцкого.

62 Циприан Камиль Норвид: «Описывать можно лишь часть жизни и поступков». Из письма Норвида к Марии Трембицкой 29 июля 1857 года. Цит. по: C.Norwid. Pisma wszystkie. T.8. Warszawa, 1971. С. 314.

63 Например, J.Czapski. Jak żyć? // Kultura. 1983. №5; J.Czapski. Dorożkarz i koń // Zeszyty Literackie. 1989. № 26, и др.

поступил на юридический факультет Петроградского университета, но вскоре был призван в армию. Перед отправкой на фронт он окончил ускоренные офицерские курсы при Пажеском корпусе. Затем в мемуарах упоминается удивительный эпизод первой половины 1918 года — несколько месяцев жизни Юзефа Чапского и его старших сестер Марии и Каролины в «скрытом в золотой мгле»⁶⁴ революционном Петрограде. Здесь сослуживец Чапского по 1-му Польскому корпусу Антоний Марыльский основал религиозно-пацифистскую коммуну толстовского типа. Наконец последний эпизод петроградской биографии Чапского — его тайный приезд в город в ноябре 1918 г. для выяснения судьбы пропавших на севере большевицкой России пятерых однополчан из 1-го полка креховецких уланов. Это свое пребывание в Петрограде Чапский многократно описал, рассказывая о знакомстве с Мережковскими и Философовым.

Архивные изыскания биографических сведений о Чапском в Петербурге начались в 1996 г., в период подготовки выставки «Человек и место. Юзеф Чапский: к столетию со дня рождения» в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме⁶⁵. С тех пор удалось найти некоторые материалы самого Юзефа Чапского, а также его деда Эммериха Чапского (1828-1896); его отца Георгия (Ежи) Чапского (1861-1930); дяди, точнее двоюродного деда по бабушке, матери отца, Александра Феликсовича Мейендорфа (1869-1964), депутата III и IV Государственной думы; его младшего брата Станислава (1898-1959) и двоюродных братьев, сыновей его дяди, Карла Александра Чапского (1860-1904), — Эммериха (1897-1979) и Войцеха (1899-1916). Как и следовало ожидать, наиболее трудными для архивных поисков и наименее представленными в документах оказались петроградские эпизоды 1918-1919 годов.

Найденные в российских архивах документы Юзефа Чапского и его родственников позволяют уточнить отдельные даты в его биографии и дают более детальное представление о периоде его учебы в Петербурге-Петрограде в 1912-1917 гг.

И в жизни, и в своих биографических текстах Юзеф Чапский избегал упоминаний о своем аристократическом происхождении. В петербургских архивах Юзеф Чапский именуется «Иосифом Георгиевичем, графом Гуттен-Чапским». В фонде Департамента герольдии Российского государственного исторического архива хранится его первое личное дело 1898 года: о его «сопричислении к графскому достоинству» отца, графа Георгия Эммериковича Захарьевича Николаевича Севериновича Гуттен-Чапского и герба Leliva «со внесением в пятую часть родословной книги дворян Минской губернии»⁶⁶.

64 Józef Czapski. Wyrwane strony. Paryż, 1983. С. 211. Парафраз строки из стихотворения Леопольда Стаффа.

65 Выставка «Человек и место. Юзеф Чапский. К 100-летию со дня рождения». 12 ноября — 15 декабря 1996, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Подготовлена Национальным музеем в Кракове, Музеем Анны Ахматовой, польским Генеральным консульством в Санкт-Петербурге и Научно-информационным центром «Мемориал». См.: Tatiana Kosinowa. Czapski w Sankt-Petersburgu. // Zeszyty Literackie. 1997. №58, S.197-169.

66 РГИА, ф.1343, оп.46. д.1160. лл. 2, 8 об.

В копиях свидетельства о крещении⁶⁷ на немецком и русском языках, хранящихся в этом деле, указана дата рождения Юзефа Чапского в Праге — 2 апреля 1896. Дата его крещения по римско-католическому обряду — 4 апреля 1896. Между тем, во всех опубликованных биографиях Чапского датой его рождения считается 3 апреля 1896.

За исключением российских документов 1897-1917 гг., позднее нигде не упоминается полное имя Юзефа Чапского, первый раз указанное в копии свидетельства о крещении: Иосиф Эммерих Игнатий Антон Франц де-Паула Мария. Первую часть (приставку) фамилии — Гуттен, полное имя и графский титул с именованием родового герба Юзеф Чапский с 1918 г. не использовал.

В Российской Империи принадлежность к польской аристократии, а также семейная традиция и статус деда, графа Эммериха Захария Николая Северина Карловича Гуттен-Чапского, предопределяли его внукам необходимость получить юридическое образование в столице, независимо от их пожеланий и склонностей. «Когда меня вместе со Стасем решили выслать на учебу, мы захотели ехать во Львов, там был у нас кузен, Франуш Чапский, он учился во Львове, — вспоминал Юзеф Чапский. — Очень нам хотелось попасть в Польшу, но об этом нельзя было и заикнуться: надо кончить обучение в России, получить диплом, стать мировым судьей или кем-то в этом роде. Дело для нас непонятное и вообще не нужное»⁶⁸. Карьера деда — Эммериха Гуттен-Чапского, умершего вскоре после рождения Юзефа, несмотря на успешность, не была для внука примером. Выпускник юридического факультета Московского Императорского университета, кандидат юридических наук (1851), в 35 лет он стал новгородским губернатором (1863-1864), в 37 — санкт-петербургским вице-губернатором (1865-1867) и вышел на пенсию (1879) с поста директора Лесного департамента в звании камергера.

Точная дата приезда в Петербург братьев Юзефа и Станислава Чапских пока не установлена. В ежегодном справочнике «Весь Санкт-Петербург на 1910 год»⁶⁹ указано место проживания в Петербурге некоего Вацлава Вацлавича Ивановского, личного дворянина, по адресу: Невский проспект, 116. Возможно, это и был домашний учитель Чапских — Вацлав Ивановский. В 1911 г. Вацлав Ивановский проживал на Загородном проспекте, д.13⁷⁰. Однако первым своим петербургским адресом в гимназический период Чапский называет дом генерала Н.В.Бибикова на Троицкой улице (ныне ул. Рубинштейна, 36).

Архив Санкт-Петербургской мужской гимназии №12 не сохранился, корпус ее разрозненных документов рассеян в фонде канцелярии попечителя С.-Петербургского учебного округа⁷¹. Гимназия была образована в 1901 году. В годы учебы в ней Юзефа и Станислава Чапских она находилась во дворе дома №68/40 по Невскому проспекту,

67 Там же, лл.6 об. -7.

68 Józef Czapski. Wyrwane strony. Paris, 1983. С. 183-184. Пер. С.Свяцкого для выставки «Wnętrze. Józef Czapski. W stulecie urodzin» (СПб., 1996).

69 Весь Санкт-Петербург на 1910 год. СПб.: А.С.Суворин, 1910.

70 Весь Санкт-Петербург на 1911 год. СПб.: А.С.Суворин, 1911.

71 ЦГИА СПб, ф.139.

принадлежавшего в те годы З.Н.Полежаевой (т.н. лопатинского, или Литературного дома). Вход в гимназию располагался во дворе дома №40 по набережной реки Фонтанки, у Аничкова моста. (Бывшее здание гимназии, несмотря на хорошую сохранность, было снесено в январе 2011 г. вместе с домом №68 по Невскому проспекту.)

В копии аттестата об окончании гимназии Юзефа Чапского, обнаруженной в его личном студенческом деле⁷², указана дата поступления в гимназию — 18 августа 1912⁷³, сразу в шестой, последний из низших гимназических классов. В это время директором гимназии был действительный статский советник К.А. Иванов. С января 1914 г. пост директора занял исполняющий обязанности инспектора математик К.Б. Пенионжkevич. Гимназия №12 была правительственной (в то время в Петербурге было несколько частных гимназий). Юзеф Чапский был «своекоштным» учащимся: его образование оплачивали родители, год обучения стоил 75 рублей.

«В Петербурге у меня появились первые проблески интеллектуальных увлечений, благодаря гимназии я открыл русскую литературу, именно русскую, не польскую, и первые сильные переживания были в основном русскими», — писал Чапский⁷⁴. «Помню самое значительное событие своей юности. В России выходил такой невероятно популярный журнал “Нива”, и к нему каждый год печатались сорок томов литературного приложения, которые по абонементу высылались почтой. На Рождество я получил в подарок от отца сорок томов Жюль Верна! Ощуаю и сейчас, что это было за богатство. Не скажу, чтобы Жюль Верн так уж меня волновал, главное было в том, что я стал владельцем этих томов. И тут начинается моя личная жизнь, отдельная от прочих»⁷⁵.

Юзеф Чапский вспоминает о доме, в котором он тогда жил: «Я учился в двенадцатой гимназии на Фонтанке, а жили мы на Троицкой, в доме, который был когда-то собственностью Бибикова, кажется, бывшего варшавского генерал-губернатора»⁷⁶. Однако через полтора года братья Чапские со своим учителем переселились за город, в Царское Село. Именно здесь ученик 7 класса 12-й гимназии Юзеф Чапский 24 апреля 1914 г. встал на воинский учет и был «приписан по отбыванию воинской повинности к Первому участку Царскосельского уезда»⁷⁷.

В 12-й классической гимназии было по два класса в параллели, по двадцать человек в каждом классе. Учителями Юзефа Чапского были: А.А. Виноградов (русский язык), К.Б.Пенионжkevич и П.П.Кусков (математика), Н.И.Адамович (физика), М.Н.Куфаев и А.И.Савицкий (латинский язык), А.П.Нечаев (география, история), Е.В.Шмеллинг и В.В.Гиппиус (немецкий язык), А.Л.Моаньяр, А.Н.Новикова и Л.А.Эдель

72 ЦГИА СПб, ф.14, оп. 3, д.65743. Дело Императорского Петроградского его Императорского Величества университета 1915-1916 уч. года. Иосиф — Эммерих — Игнатий — Антон — Франц — де-Паула — Мария Георгиевич граф Гуттен-Чапский. 17 г. 34 листа.

73 Там же, л.4.

74 Józef Czapski. Указ. соч. Пер. С.Свяцкого. С.184.

75 Józef Czapski. Указ. соч. С.182.

76 Józef Czapski. Указ. соч. С. 184.

77 ЦГИА СПб, ф.14, оп.3, д.65743, л.11.

(французский язык), штабс-капитан М.В.Колобов (гимнастика) и другие. Рисование преподавалось в гимназиях до третьего класса и затем факультативно, за отдельную плату, по просьбе родителей гимназистов.

В сохранившейся копии аттестата № 610 Юзефа Чапского занятия рисованием в гимназии не отмечены. Напротив, в нем указаны «отличные успехи, в особенности же в физико-математических науках»⁷⁸. Чапский закончил гимназию 28 апреля 1915 г. «при отличном поведении», с оценками «пять» по всем предметам. Из копии его аттестата: «...обнаружил нижеследующие познания: в Законе Божием /5/ пять. Русский язык с церковно-славянским и словесности /5/ пять. Математике /5/ пять. В Физике /5/ пять. Математической географии /5/ пять. Истории /5/ пять. Географии /5/ пять. Фр[анцузском] яз[ыке] /5/ пять. Немецком яз[ыке] /5/ пять. Законоведении /5/ пять»⁷⁹. За свои успехи и прилежание Педагогический совет гимназии наградил Чапского золотой медалью⁸⁰, что давало ему право поступать в Петроградский Императорский университет без экзаменов.

17 июня 1915 г., после уплаты «двадцати пяти рублей в пользу университета», граф Иосиф Гуттен-Чапский был зачислен студентом 1-го курса юридического факультета Петроградского Императорского университета⁸¹. Двоюродные братья Юзефа и Станислава, графы Эммерих и Войцех Гуттен-Чапские, дети их родного дяди, старшего брата отца – Александра Гуттен-Чапского, городского головы Минска, в это же время поступили в Императорское училище правоведения⁸².

В студенческие годы (1915–1916) местом своего проживания Юзеф Чапский указывает: «Царское Село, Безымянный переулок, дом 7, квартира 17»⁸³; он также периодически жил в доме своего дяди Александра Мейендорфа в Озерном переулке, 12.

Юридический факультет в те годы располагался в главном корпусе университета — здании Двенадцати коллегий. За два семестра 1915/1916 учебного года Юзеф Чапский прослушал курсы «Энциклопедия права», «История римского права», «История русского права», «Политическая экономия», «Государственный учет (общий учет)», «Статистика». В апреле 1916 г. Чапскому были выставлены оценки «весьма» за политическую экономию и статистику⁸⁴. «Весьма» – сокращенный вариант высшей из трех возможных студенческих оценок: «весьма удовлетворительно».

В это время в университете постоянно шли отчисления на нужды войны. Студенты делали отчисления на строительство этапного лазарета имени Петроградских высших учебных заведений и лазарета Министерства народного просвещения. Лазареты были устроены в Актовом зале университета, в здании студенческой столовой

78 ЦГИА СПб., Ф.14, оп.3, д.65743, л.4.

79 Там же.

80 Там же.

81 Там же, л.1.

82 ЦГИА СПб. Ф.355. Оп.1. Д.4957. Л.Л.44, 47об.

83 ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.3. Д.65743. Л.1 об.

84 ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.3. Д.65743. Л.26 об.

и в здании Коллегии императора Александра II⁸⁵. В 1915 г. студентам еще давали отсрочку от исполнения обязательной воинской повинности на всё время обучения в университете. Однако 31 января 1916 г. постановление Совета Министров отменило студенческие отсрочки. При этом лица, ушедшие на фронт со студенческой скамьи и окончившие ускоренные офицерские курсы, могли увольняться в запас после трех месяцев службы в офицерском звании⁸⁶.

В августе 1916 г. Юзеф Чапский должен был быть призванным в действующую армию. 26 мая 1916 г. он обратился к ректору Э.Д. Гримму с просьбой об увольнении из университета в связи с поступлением в Пажеский корпус на ускоренные офицерские курсы⁸⁷.

«Отец сделал всё, чтобы я не попал в армию, — вспоминал Чапский. — О войне я думал с ужасом, потому что знал: нельзя тронуть даже муху. Я учился год в университете, ничему там не научился, сдал какие-то экзамены и тут же оказался в Корпусе. Я был убежден, что в армии мне не бывать. Потому что легкие у меня были слабые, и мне достаточно было выйти из дому без калош, чтобы подцепить воспаление легких. Я был убежден, что расхвораюсь. Но оказалось, что не только не расхворался, но совершенно выздоровел»⁸⁸.

Чтобы попасть в уланский полк, Юзеф Чапский выбрал ускоренные курсы офицера кавалерии, которые он закончил 13 февраля 1917.

Таким образом, мы можем систематизировать и впервые представить дополненные сведения об этом этапе жизни нашего героя (даты приводятся по старому стилю):

Иосиф Эммерих Игнатий Антон Франц де-Паула Мария Георгиевич, граф Гуттен-Чапский, родился в Праге 2 апреля 1896. 18 августа 1912 поступил в 12-ю Санкт-Петербургскую гимназию и 28 апреля 1915 окончил полный ее курс с золотой медалью. 17 июня 1915 поступил на юридический факультет Петроградского Императорского университета, окончил 1-й курс, отчислен 31 мая 1916 в связи с призывом на военную службу. Состоял на учете по воинской повинности в 1-м участке Царскосельского уезда с 25 апреля 1914 до 31 мая 1916. С 1 июня 1916 по 13 февраля 1917 обучался на ускоренных офицерских курсах в Пажеском Его Императорского Величества корпусе.

В 1912-1917 в Петербурге-Петрограде проживал по следующим адресам: ул. Троицкая, 36 (Рубинштейна, 36), Озерной пер., 12; в Царском Селе – по адресу: Безымянный пер., 7, кв.17 (дом не сохранился).

Попав в советский плен в районе Львова в сентябре 1939 г., на допросах следователей НКВД ротмистр Юзеф Чапский предпочел умолчать об этих фактах своей биографии. Вот как он вспоминает о допросах в документальной повести «На бесчеловечной земле»:

85 Календарь для студентов всех высших учебных заведений на 1916-17 учебный год. Пг., 1916. С.222.

86 Там же. С.219.

87 ЦГИА СПб, ф.14, оп.3, д.65743, л.16 об.

88 Józef Czapski. Указ. соч. Пер. С.Свяцкого. С. 174.

«Лично меня на допросах особенно не мучили. Ни физически, ни даже морально. Длившиеся по несколько часов допросы, в основном поздним вечером, были не лишены своеобразного юмора (впрочем, так я смотрю на это сейчас, но тогда я знал, что от одного моего неосторожного слова, от перемены настроения у дознавателя зависит моя судьба). Допрос вели трое (...). Я им сказал, что в течение восьми лет жил в Париже как художник. Им это показалось весьма подозрительным.

— Какие указания вы получили от министра?

— Он понятия не имел, что я уезжаю.

— А что вам поручил заместитель министра?

— Он тоже не знал о моем отъезде, – поясняю, – ведь я выезжал как художник, не как шпион.

— Думаете, мы не понимаем, что вы как художник могли нарисовать план Парижа и переслать его министру в Варшаву?..

Я никак не мог втолковать моим собеседникам, что план Парижа можно купить там за сорок сантимов на каждом перекрестке и что польские художники, которые посещали Париж, не были шпионами, рисующими тайные планы. Из них так никто и не поверил, что можно выезжать за границу, не имея шпионского задания»⁸⁹.

В Центре хранения историко-документальных коллекций (Москва) историк Н.С.Лебедева нашла такой вариант биографической справки Юзефа Чапского:

Сов. секретно

СПРАВКА

на военнопленного ротмистра запаса бывшей польской армии

ЧАПСКОГО Ю. Г.

ЧАПСКИЙ Юзеф Георгиевич, 1896 г. рождения, по национальности поляк, к политическим партиям в прошлом не принадлежал. Уроженец гор. Прага (Чехословакия), происходящий из семьи графа, отец собственности не имел — был в гор. Варшава адвокатом. Образование высшее. В 1924 году окончил художественную академию в гор. Кракове, по специальности художник-живописец. С 1924 по 1931 год проживал во Франции в Париже, работал художником в своем ателье. В 1920-21 годах служил в польской армии в 1 уланском полку в чине подпоручика. За боевые действия против Красной Армии польским правительством награжден высшей наградой — крестом «Виртути Милитари» и крестом «За храбрость». В лагере

89 Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Warszawa, 1990. С. 38. Пер. С. Свяцкого для выставки «Wnetrze. Jozef Czapski. W stulecie urodzin» (СПб., 1996).

Чапский проявляет себя ярким польским националистом и сторонником восстановления Польши. По отношению к Советскому Союзу настроен враждебно. Когда администрация Старобельского лагеря намеревалась Чапского использовать как художника, последний отказался и среди военнопленных высказался, что «не считаю возможным для себя сотрудничать в такой работе, после того как СССР вбил нож в плечи Польши во время войны ее с Германией». В армию мобилизован 3/IX-39 г. и определен в 8-й кавалерийский полк в гор. Кракове.

Нач[альник] ОО Грязовецкого лагеря НКВД

Ст. лейтенант гос. безопасности подпись (Эйльман)⁹⁰

Если бы Чапский в анкетных данных указывал проживание в Петербурге, окончание петербургской гимназии, учебу в Петроградском университете и Пажеском корпусе, его статус был бы мгновенно переквалифицирован. Из польского военнопленного он в анкетах НКВД превратился бы в «польского шпиона и врага народа», а в графе «гражданство» скорее всего стояло бы «бывш[ее] польск[ое]» или просто «СССР». И никакой запрос германского посольства не помог бы его спасению ни в Старобельском, ни в Грязовецком лагере НКВД. В январе 1940 г. с просьбой о содействии в освобождении Чапского к дипломатам Третьего Рейха в Риме обратились граф Фердинанд де Кастель и графиня Палецкая⁹¹. К этому времени германский МИД сформулировал, что уроженцы территории, отошедшей к Германии, подпадают под юрисдикцию Третьего Рейха и он может выступать в защиту их интересов. К февралю 1941 г. германская сторона направила уже 1200 запросов в НКВД СССР относительно военнопленных польской армии — офицеров и рядовых⁹².

Юзеф Чапский в условиях советского плена интерпретирует свою биографию, исходя из здравого смысла и собственного лагерного опыта. И его вынужденные умолчания в очередной раз призывают нас критически относиться к гулаговским источникам.

2011

90 ЦХИДК, ф.1/п, оп.4е, д.13, л.260. См также: Lebidewa N. Jeńcy polscy w obozach NKWD. Przypadek Jozefa Czapskiego // Zeszyty Literackie. 1995. №50. S.122-123.

91 Так фамилии приводятся в русском переводе. Цит. по: Madańczyk Cz. Dramat katyński. Warszawa, 1989. S.93-94.

92 Наталья Лебедева. Юзеф Чапский и его соотечественники в плену на «бесчеловечной земле» // Юзеф Чапский. Старобельские воспоминания. На бесчеловечной земле. М.: «Летний сад», 2012 (в печати).

Татьяна Косинова

ВОСПОМИНАНИЯ ЮЗЕФА ЧАПСКОГО ИЗДАНЫ ПО-РУССКИ

В декабре 2012 г. в издательстве «Летний сад» вышла книга мемуаров польского художника и писателя Юзефа Чапского. «На бесчеловечной земле» и «Старобельские воспоминания» впервые целиком опубликованы на русском языке.

Идея издания книги родилась в Петербурге, в НИЦ «Мемориал», пятнадцать с лишним лет назад.

Известный польский художник и писатель Юзеф Чапский (1896-1993) провел в Петербурге-Петрограде несколько лет, 1912-1918 гг., закончил 12-ю гимназию, учился в Петроградском университете и на ускоренных офицерских курсах в Пажеском корпусе, ушел на фронт Первой мировой, был сооснователем толстовской коммуны в Петрограде в 1918-м... Поэтому в год столетия Чапского Петербург наряду с Прагой, Парижем и Варшавой стал местом демонстрации первой биографической выставки, посвященной ему. Выставка называлась «Человек и место. Юзеф Чапский. К 100-летию со дня рождения». 12 ноября — 15 декабря 1996 она экспонировалась в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Одним из ее организаторов стал Научно-информационный центр «Мемориал». Во время подготовки выставки началось исследование петербургского периода жизни Чапского и возникла идея издать весь корпус лагерных и послелагерных мемуаров по-русски.

Издание осуществлено при финансовой поддержке польского МИДа (программа «Распространение знаний о Польше») при финансовой поддержке польского Института книги в рамках программы «Poland Translation Program». Перевод выполнен участниками семинара «Трансатлантик» при Польском культурном центре в Москве под руководством Ксении Старосельской.

«В Старобельском лагере на момент расформирования, 5 апреля 1940 года, было 3920 офицеров, несколько десятков гражданских лиц и около 30 подхорунжих и хорунжих. Из них выжили 79. Я — один из них, — так начинаются «Старобельские воспоминания».

Все остальные исчезли бесследно, несмотря на неустанные попытки выяснить, где они находятся.

Когда в сентябре-октябре 1939 года в советский плен попала часть польской армии, офицеров и часть рядовых разместили в трех лагерях — в Старобельске,

Козельске и Осташкове. Во всех этих лагерях к началу их расформирования, 5 и 6 апреля 1940 года, было около 8700 офицеров и около 7000 унтер-офицеров и рядовых. Из общего числа пленных, находившихся в упомянутых лагерях в период с октября 1939-го по май 1940 года отыскиались в общей сложности 400 человек (офицеры, рядовые и маленькая группа гражданских), которые в 1940-1941 годах были переведены в Грязовец под Вологдой. Кроме того, нашлись еще несколько десятков офицеров и рядовых, вывезенных ранее из тех же лагерей в тюрьмы с целью возбуждения против них судебных дел.

Пленные из Грязовца вместе с вышеупомянутыми пленными, отправленными в тюрьмы, были освобождены по большей части в августе 1941 года после заключения советско-польского договора.

Остальные исчезли...»

Предисловие к книге — «Русофил старого закала» — написал Адам Михник:

«Автор этой книги, — пишет он, — знал Россию начала XX века; знал русских писателей; какое-то время жил в Петербурге. Впоследствии, в межвоенной Варшаве, общался с русскими эмигрантами, например с Мережковским и Философовым.

Поэтому в его книге нет и тени неприязни к России и русской культуре. Зато есть рассказ о катынском преступлении советских властей, о судьбе поляков, которых тоталитарная система преследовала, бросала в тюрьмы и лагеря. Всё это скрывалось под завесой лжи и тайны. В России и Польше говорить об этом, публиковать документы начали лишь после 1989 года. Только тогда жестокое преступление было названо своим именем. И большая заслуга в этом Юзефа Чапского, художника, писателя, эмигранта, чьи книги выходили в Лондоне и Париже задолго до краха коммунизма. Сегодня его свидетельство попадает в руки российского читателя.

Наперекор апологетам сталинской лжи, многие российские демократы, друзья-москали, участвовали в раскрытии правды о катынском преступлении. Их имена золотыми буквами запечатлены в польской памяти.

Книга Юзефа Чапского, однако, не только рассказ о безнадежных поисках жертв преступления в Катыни. Это рассказ о поляках, об их жизни и страданиях на бесчеловечной земле — в сталинском Советском Союзе. Земля эта, конечно же, была бесчеловечной не только для поляков, но и для россиян.

Главная тема книги: встреча поляка — аристократа, художника и гуманиста — с Россией. Россия эта разнородна. Чапский встречался не только с простыми людьми, но и с советскими генералами, но и с Алексеем Толстым, аристократом и сталинским придворным, и с Анной Ахматовой, величайшей поэтессой всей Руси. Чапский писал: «Я сохранил воспоминания об Ахматовой как о натуре неординарной, сложной в общении из-за присущего ей легкого лицедейства, хотя это могло быть обусловлено уникальностью ее личности. У меня создалось впечатление, что я беседую с человеком, которому нанесли глубокую рану, и шутовство служит ему защитой, маскирует боль».

Анна Ахматова тоже запомнила Чапского. У Лидии Чуковской в ее воспоминаниях есть такая запись: «Я давно подозревала, что стихотворение «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума...» посвящено тому высокому поляку, который в Ташкенте бывал у нее и, помнится, провожал ее откуда-то из гостей домой — не от Толстых ли?...» Сама же Ахматова записала: «...некто Ч[апский], который в Ташкенте, в 1942 году церемонно становится на одно колено, целует руки и говорит: “Вы — последний поэт Европы”».

Литовский поэт и эссеист Томас Венцлова писал об этом ахматовском стихотворении: «Ахматова упорно молчала об адресате своего ташкентского стихотворения, избегая даже малейшего намека на его национальность. Причина этого, конечно, отчасти лежит в области внелитературной. Любое упоминание о знакомстве с Чапским могло быть опасным».

Вновь Ахматова встретила с Чапским только в 1965 году в Париже.

Книга Чапского — ответ художника, гуманиста и христианина на кошмар тоталитарного мира. Разными бывали такие ответы. Кто-то (например, Александр Солженицын или Густав Герлинг-Грудзинский), отвечая на большевистскую или нацистскую релятивизацию ценностей, выбирал позицию морального ригоризма. Другие на жестокость тоталитаризма отвечали милосердием.

Таков, полагаю, был выбор и Юзефа Чапского».

Презентация книги состоится в Петербурге и в Москве в январе-феврале 2013 года.

Чапский Юзеф. На бесчеловечной земле. Москва—Вроцлав: Летний сад; Коллегиум Восточной Европы им. Яна Новака Езеранского, 2012. 478 с.

2013

ВОСПОМИНАНИЯ О ЮЗЕФЕ ЧАПСКОМ⁹³

Александр Яцковский (р. 1920) — историк искусства, этнограф

С Юзефом Чапским я познакомился в 1936 году, в Сопоте, на море. Эта встреча была для меня тогда очень важной, поскольку не только помогла мне войти в мир творчества и вообще приобщиться к искусству, но стала также чрезвычайно существенной для всей системы моего мышления, для этических ценностей, которые я исповедую. Я думаю, что меня в значительной степени сформировал именно Юзеф Чапский.

Наш контакт продолжался практически без перерыва до самого начала войны. Мы виделись довольно часто. Я был под огромным впечатлением от его живописи, а может, в еще большей мере, от его отношения к людям и искусству. Чапский был человеком невероятно острого ума, он мыслил категорично, потрясаяще анализировал все, что делал и говорил, но одновременно умел мыслить широко. Я не хочу сказать «толерантно», потому что толерантность у человека, имеющего определенные этические принципы, — такая толерантность имеет свои границы, но в рамках этих границ он был чрезвычайно доброжелателен к людям.

Я помню несколько трудных моментов в моей жизни, когда Юзек сумел меня как-то поддержать. Я помню, как он мне преподнес, после одного моего огромного провала — в школе был какой-то скандал, меня в результате не допустили к экзаменам на аттестат зрелости, — и тогда он подарил мне «Легенду Молодой Польши» Станислава Бжозовского. Казалось бы, это не совсем в тему, но для меня это было тогда почему-то очень важно.

И очень важна была для меня его живопись. И его отношение к работе. Он работал так, как работает ремесленник. Как ремесленник или как пианист, который должен каждый день заниматься своими упражнениями. Чапский ежедневно по утрам работал, и у него был такой стиль работы, что сначала он писал — как сам их называл — или натюрморты, или «пиленные»⁹⁴ портреты, то есть такие, можно сказать, голландские по своему типу: невероятно подробные, точные и, собственно, лишенные полета, в чем он себе прекрасно отдавал отчет, а потом из этого в какой-то момент выходили картины, написанные быстро, молниеносно, мощным таким движением кисти, — картины, которые были словно отрицанием «пиления». Я уже

⁹³ Из архива Второй программы Польского радио

⁹⁴ 'Пиление' в польском сленге означает скучную, монотонную и скрупулезную работу.

сейчас не помню, кто говорил, что вдохновение — это такая вещь, на которую надо честно заработать, в случае Чапского это было очень наглядно. Он всегда говорил о себе, что не слишком талантлив, и действительно у него не было такой обезьяньей ловкости, как, например, у Пикассо. Процесс рисования был для него процессом трудоемким. У него не было легкости, которая позволила бы ему играючи преодолеть возникшее препятствие. Если у него в процессе работы возникала какая-то трудность, то он ее изучал, углублял. Он с ней мучался. Люди, у которых есть дар этой невероятной легкости, умеют все это законопатить, замазать, тут поставить какое-то пятно, там еще что-то — и все в порядке. И вот здесь-то и скрыта принципиальная основа невероятной честности Чапского. Почему именно он стал для многих людей моральным авторитетом, образцом — особенно уже в те послевоенные годы, после российского опыта, после Старобельска? Именно потому, что он был безукоризненно честен по отношению к себе. Он был также честен по отношению к людям, как к листу бумаги и линии, которую на нем оставлял.

Что еще кажется мне очень важным для Чапского? Это осознанность выбора того, что он поляк. Эта осознанность выбора замечательно представлена в его текстах, это же замечательно представляет и его жизнь.

Этому выбору он далее следовал неуклонно, и это показывает его борьба — как в первый период большевицкой войны в 1920 году, так и тогда, когда он пошел ротмистром в армию в 1939-м. Затем попал в русский плен. Его патриотизм не был, однако, ограниченным, таким, как, скажем, у национал-демократов. Это был очень широкий патриотизм, объединенный с культом мысли, культом той цивилизации, которая шла с Запада, особенно из Франции.

После войны Чапский поддерживал оживленные контакты с французскими интеллектуалами. Впрочем, эти связи Чапского тянулись еще со времен, когда польские художники-колористы жили во Франции, когда именно Чапский был посредником между польскими художниками и интеллектуальной и художественной элитой Франции того времени. Он осуществлял такую связь, поскольку не все польские художники-парижане были в ладах с французским языком, как, например, Зыга Валишевский, который был, мне думается, самым выдающимся живописцем того периода. Чапский мне потом рассказывал, как Зыга шутил, что после шести лет во Франции знает сто французских слов, но не знает, что они значат. Покупки можно было делать в одной польской лавочке и нормально жить, вовсе не зная языка, особенно работая так, как работал Валишевский.

Чапский же легко завязывал знакомства и был своим человеком сразу в двух сообществах: в кругу французских интеллектуалов (особенно близок он был с Мориакон), и в кругу русской эмиграции, где он водил дружбу с восхищавшим его Дмитрием Философовым, одним из самых выдающихся представителей русской интеллектуальной элиты. Философов был для Чапского тем, кем Чапский был для меня, — кем-то вроде наставника. А поскольку все это происходило в кругу русской литературы, то я бы сказал, что он был как старец Зосима из «Братьев Карамазовых». Это был человек, к которому Чапский был преисполнен невероятного почтения и которого слушал с удивительным смирением.

Это его умение слушать мне imponировало. Такое умение характерно главным образом для писателей, оно редко случается у художников. Художники обычно нетерпеливы. В тот период Чапский был, однако, не только художником. Чапский, и это сохранилось в нем до поздних лет, развивался в двух направлениях. Он чрезвычайно интересовался всем, что происходит в современном искусстве, во французском. Он велел себе читать! Велел читать себе критику, велел читать себе книги. Уже почти не видел, рисовал почти слепой... В нем было невероятное влечение к искусству и чуткость к нему, с одной стороны, а с другой — интерес к движению, развитию мысли, к тому что лежит в основе нашей европейской культуры. Вот это, как мне кажется, и было его особой чертой. Я не знаю другого художника, не знаю человека искусства, который бы в такой степени жил в этих двух сферах одновременно: в сфере интеллектуального усилия и сфере собственного творчества.

Когда я встречался с ним уже после войны, меня поражало его умение оценить достоинства искусства, которых польские колористы вообще не видели.

В живописи Юзефа Чапского я выделяю, прежде всего, две вещи: первая — это стремление к максимально сильной цветовой экспрессии или экспрессии линии в рисунке, а вторая — это умение видеть так, как видит кино — кинокадром. Его картины, все, что он создал, были словно подсмотрены, но подсмотрены не так, как это делается, когда создается композиция традиционной картины, где центральный объект посередине, где сохраняется такого типа симметрия. В его картинах были некие кадры, которые позволяли, даже с первого взгляда, уловить дух персонажа, всю атмосферу ситуации, которую он писал.

Это, конечно, было и до войны, в его забитом людьми автобусе — тогда одной из наиболее интересных и значительных его картин. Уже тогда это было такое видение каждого человека, видение несколько кинематографическое. Позже это очень сильно развилось. В его картинах множество каких-то бульварных театриков, каких-то быстро, где-то подсмотренных сценок. Впрочем, он же рисует, очень много рисует. Его рисунки — а их десятки тысяч — это и есть заметки об увиденном, зарисовки повседневности. Очень точно наблюденные, выполненные быстрым штрихом, часто просто мастерские, рисунки в одно мгновение схватывают ситуацию, которая позже станет основой картины. Почти всегда именно так у него и происходило, сначала он фиксировал ситуацию, которая была ему интересна, то есть привлекала взгляд художника, его видение мира, а затем уже начиналась работа над этим — очень последовательная и очень осознанная.

Для меня Юзеф Чапский — это нечто такое, как эталон метра в Севре: эталон, с которым человек сверяется. Я не раз в своих поступках задумывался над тем, как бы он что-то оценил. В любом случае это был, пожалуй, самый важный человек в моей жизни.

*Записала Иоанна Шведовская.
Расшифровала Богумила Пишонка*

Я оказался в Париже летом 81-го и сразу же с рекомендательным письмом попал к редактору Ежи Гедройцу, в Мезон-Лаффит. Так получилось, что им там нужен был помощник для тяжелого физического труда — упаковки книг. Я решил, что нет лучшего места под солнцем, чем именно этот адрес: Авеню де Пуасси, 91, — и начал там работать. Через два-три дня я уже увидел всех людей-легенд, которые жили там, в Мезон-Лаффите, и работали там.

Атмосфера была очень специфичная. На первом этаже издавалась, редактировалась «Культура» — там был сам Ежи Гедройц, там была Зофья Херц, был Хенрик Гедройц, младший брат Редактора, были Юлия Юрьс, Мария Ламзаки и еще целая группа людей, занимавшихся выпуском журнала. На втором этаже жил одиночка — Юзеф Чапский, и там была его мастерская. Я об этом знал, но туда в первые недели не поднимался — моя территория ограничивалась первым этажом. Но Чапского я видел. У него была весьма характерная фигура очень высокого, слегка сутулого мужчины, из-за которого — можно сказать так — на улице всё останавливалось. Его видели все, его все замечали. Я не смел к нему подойти — просто передо мной за окном проходила легенда.

Как-то у меня случился перерыв в работе, и я сидел, читая одну из тысяч ранее недоступных, а теперь неожиданно доступных книг, которые проходили через мои руки. Это были воспоминания Лидии Чуковской об Анне Ахматовой, на русском языке. Неожиданно вокруг меня стало как-то темнее, я поднял глаза — надо мной возвышался Юзеф Чапский и с интересом смотрел, прежде всего, на незнакомого молодого человека, который вдруг появился тут, на этой территории, где, как ему казалось, он знает всех, а во-вторых, и это его очень заинтриговало, читает книгу по-русски. Он к этому был очень чуток, и мы начали разговор, сразу же очень насыщенный, то есть об Ахматовой, о Чуковской, о русском языке, о том, насколько поляки ценят, любят, ненавидят русских, русскую литературу. Через пять минут мы уже говорили обо всем, что для него было самым главным, а для меня удивительной была сама легкость вхождения в этот разговор и доступность этого человека — как я уже говорил: человека-легенды, которого я раньше знал, прежде всего, по его книгам, по воспоминаниям «На бесчеловечной земле» и некоторым публикациям о живописи. Он меня пригласил к себе — туда, наверх — и мы продолжили разговор, так как он узнал, что я знаю русский, что перевожу с русского, и это его как-то особенно привлекло. К тому же он очень интересовался людьми из Польши.

Это было, напомним, время первой «Солидарности». После многих лет какой-то пустоты, когда в редакцию «Культуры» приезжали немногие, вдруг за несколько месяцев 80-го и 81-го туда свалилось пол-Польши. Приехала большая делегация Независимого союза студентов, приехал театр «Восьмого дня», молодежь приезжала толпами, а люди из Мезон-Лаффита изголодались по этим контактам, жаждали их.

Потом пришло военное положение. Я начал сотрудничать с радио «Свободная Европа», потом стал там работать, там и увидел профессиональный ленточный магнитофон «Награ» — и мне сразу же подумалось: вот здесь «Награ», а там Чапский,

надо их как-то объединить. Я стал ездить к Чапскому, и сказать по правде, единственное, в чем состояла моя роль, — это взвалить «Нагру» на плечо, подняться к Чапскому на второй этаж и включить микрофон. Во время этих разговоров он протягивал руку к стоящему над головой, на полке, ряду тетрадей в холщовых переплетах — это были дневники, там стояло 250–280 таких томов с записями, которые он вел всю жизнь, притом что все дневники до 1944 года сгорели, если память мне не изменяет, во время Варшавского восстания, и он возобновил свои дневники после войны. Это были мысли, которые приходили ему в голову, статьи, которые он считал интересными (он делал вырезки из газет и клеивал), наброски к картинам, то, что ему иногда попадалось на глаза, — ну, ведь он, прежде всего, был художник. Хотя трудно сказать: был он, прежде всего, художником или писателем.

Помню, как в 1986 году, после одной из таких записей, мы вышли из его комнаты и уселись перед телевизором. И прямо на наших глазах произошла катастрофа с космическим челноком «Челленджер» в январе 1986-го, мы так и просидели полтора часа, следя за этой трансляцией, с Чапским — человеком практически из XIX века, захваченным и пораженным тем, что он видит, и тихо так комментирующим... Видно было, что это произвело на него огромное впечатление, эта смерть семи астронавтов в прямом эфире.

Сразу же после военного положения мы пробовали в Париже собирать средства на поддержку «Солидарности», на помощь людям в Польше. Чапский вручил мне большущую свою картину маслом, одну из многих, стоявших в его мастерской, потому что вместе с парижским комитетом «Солидарности» мы проводили аукцион, вся выручка от которого, от продажи картин, произведений искусства, должна была пойти на помощь Польше. Я спросил его о цене. Он был тогда уже признанным художником и сказал: «Ну, может, тысяча». Так что я поехал к устроителю этой выставки и предложил ему оценить картину в тысячу франков. В уик-энд выставка открылась, я через несколько часов разговаривал с Юлией Юрьей, она тогда была очень дружна с Чапским и тоже работала в «Культуре». Спросила меня о цене, и я сказал, что тысяча франков. Она за голову схватилась: не тысяча, а, как минимум, четыре, и не французских, а швейцарских.

Мы записывали его, можно так назвать, «Алфавит воспоминаний». Чапский рассказывал о своих встречах во время войны, рассказывал об Армии Андерса, о временах революции 1917 года, о том, как он искал погибших польских солдат на просторах России и сам за это едва не поплатился головой. Этот опыт, между прочим, был причиной, по которой Андерс поручил ему позже поиск польских солдат, погибших во время Второй мировой войны, — погибших, как мы сегодня знаем, в Катыни и в других местах уничтожения.

Рассказывал также о великих французах, с которыми был знаком, — и до войны, и после, когда он в 45-м уже переехал, в связи с организацией «Культуры», из Рима в Париж. О своих контактах с де Голлем, о Мориаке, Мерло-Понти, Камю. Рассказывал о том, как жилось тогда андерсовским эмигрантам в той Франции, которая совершенно не желала слушать рассказы поляков, фрустрированных своим советским, русским соседством на востоке, и как невозможно было в то время в Париже издать книгу.

Его книга «На бесчеловечной земле» кочевала тогда по крупнейшим издательствам: ей восхитился, если я правильно помню, Раймонд Арон и стал ее предлагать лучшим французским издательским домам, но ни один издатель не решился опубликовать эту книгу, чем Арон был очень смущен. Французская интеллигенция тогда флиртowała с левыми, засматривалась на восток, и реакционерам от Андерса, можно так сказать, приходилось несладко.

Этих встреч с Чапским было много. Я ездил к нему очень часто. Иногда выходило так, что я приезжал, а у него не было настроения для записи. Тогда мне случалось ему читать или мы просто разговаривали. Несколько раз я привозил с собой кого-то, кто, как мне казалось, мог быть ему интересен.

У Чапского со второй половины 80-х годов начались страшные проблемы со зрением. Это видно даже по картинам того времени, они постепенно изменялись в такие, очень характерные для Чапского, цветковые пятна, контуры которых размыты, и он очень страдал, что не может читать, что не может самостоятельно воспринимать мир. Он тогда много слушал музыку. Я и еще пара человек снабдили его кассетным магнитофоном.

Обычно он принимал гостей лёжа. Устраивался там на своей кровати в обуви, под одеялом, на одеяле... Он казался бесконечно длинным на этой кровати, а над ним эти его воспоминания, дневники и любимые книги, и он время от времени при разговоре, словно бы нехотя, протягивал руку, брал какую-то книгу, карябал дарственную надпись и вручал. Эти дарственные надписи становились все более неразборчивыми, хотя сейчас уже есть специалисты, эксперты в Польше, которые расшифровали почерк позднего Чапского, и вот теперь, как мы знаем, фрагменты его «Дневников» начали публиковаться. Не так давно два тома было издано. У меня есть несколько подаренных мне Чапским книг, например, если точно помню, «Родная Европа» Чеслава Милоша — совместная книга Чапского и Марии Чапской, там сверху посвящение кому-то из семьи, потом, после смерти этого человека, приписка: «Марии Чапский». Ну, и когда в конце концов книга перешла ко мне, он снабдил ее припиской: «После смерти Марыни». Поскольку он знал, что я читаю по-русски, мне случалось получать от него в подарок совершенно удивительные книги — например, Алексея Ремизова с дарственной надписью самому Чапскому.

Чапского любили — это, пожалуй, очень точные слова. От него исходила сама доброта, сама мудрость... Совершенно исключительный человек.

Он тогда был несколько отлучен от контактов с «первым этажом» Мезон-Лаффита, да и, надо сказать, отношения там были нелегкие. У Гедройца была своя миссия, которой он служил, в принципе, до последнего дня. Чапский на это смотрел с некоторой дистанции. Они были приговорены друг к другу, но это были непростые отношения. Как-то Чапский описал мне такую ситуацию: однажды заходит он туда, на первый этаж, а там Ежи — Ежи, как всегда, забежавшись, с какими-то бумагами, носится из угла в угол. «Я так посмотрел, — говорит Чапский, — и вдруг пришла мне такая мысль в голову, что я вот уже сорок лет вижу его забегающим. И я его на бегу хватаю и говорю: „Ежи, послушай, я бы хотел тебе сказать, так продолжаться не может,

ты не можешь неустанно метаться в этом безумии, ты должен хоть на миг взглянуть на это со стороны. Послушай, Ежи, нам ведь скоро предстоит встреча с вечностью. Ты должен хоть на момент оторваться от этих текущих дел и как-то попробовать...” А Гедройц, — говорит Чапский, — прерывает меня на полуслове и говорит: „Юзек, нет у меня времени на глупости”. И бежит дальше». Ну, и остался Юзек словно обездвиженным, нокаутированным этим полным отсутствием у Гедройца интереса к абсолюту, к вечности, к вопросам космического порядка, тем, что эта ежедневная пахота во имя Польши, во имя родины его, в принципе, вполне устраивает. Они в этом отношении были очень разные.

А последняя встреча, которую я помню, — на кладбище. На кладбище, где гроб никак не вмещался в могилу, и кто-то тогда сказал: «Он, как всегда, не помещается в предназначенном ему фрагменте пространства».

2013

*Записала Эльжбета Лукомская.
Расшифровала Богумила Пиондка.*

Оба воспоминания прозвучали в цикле «Заметки из современности». Всех интересующихся материалами о Юзефе Чапском мы отсылаем к специальной странице в Интернете: czapski.polskieradio.pl

Перевод Сергея Политико

Содержание

ОТ РЕДАКЦИИ

I

Статьи Юзефа Чапского

О «МОЛОДОЙ ПОЛЬШЕ»	3
ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЖИВЫМ И МЕРТВЫМ» ГУСТАВА ГЕРЛИНГА-ГРУДЗИНСКОГО	9
БЕСЧЕЛОВЕЧЬЕ	10
СТАРОБЕЛЬСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ	13
ОБ ИЗБРАННЫХ СОЧИНЕНИЯХ РОЗАНОВА	14
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ?	21
ВЫРВАННЫЕ СТРАНИЦЫ	27
О БЖОЗОВСКОМ	36
ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ	49
ПИСЬМО ЛЕНИНА?	54
О НЕМЦАХ	61
СОЛЖЕНИЦЫН	76
УГРОЗА НАЦИОНАЛИЗМОВ	81
ПОСМЕРТНОЕ — СЛИШКОМ ЛИЧНОЕ	84
КАК ЖИТЬ?	87
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОЛЬСКОСТИ	90

II

О Юзефе Чапском

Нина Берберова О КНИГЕ «БЕСЧЕЛОВЕЧНАЯ ЗЕМЛЯ»	95
Наталья Горбаневская «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»	98
Войцех Карпинский ПОРТРЕТ ЧАПСКОГО	108
Леонид Трус «Я ВЫРОС В ЗАМКЕ ГРАФА ЧАПСКОГО...»	112
Петр Мицнер ФИЛОСОФОВ И ЧАПСКИЕ	117
Томаш Фиалковский ЖИЗНЬ И МИЛОСТЬ	126
Татьяна Косинова	
ПЕТЕРБУРГ В БИОГРАФИИ ЮЗЕФА ЧАПСКОГО: ФАКТЫ И УМОЛЧАНИЯ	128
Татьяна Косинова ВОСПОМИНАНИЯ ЮЗЕФА ЧАПСКОГО ИЗДАНЫ ПО-РУССКИ	136
ВОСПОМИНАНИЯ О ЮЗЕФЕ ЧАПСКОМ	139